

Валерий Яценко

Последствия не моих решений. Часть 1

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Валерий Яценко

**Последствия не моих
решений. Часть 1**

«Автор»

2026

Яценко В. В.

Последствия не моих решений. Часть 1 / В. В. Яценко —
«Автор», 2026

Стоит Карлу Вайту назвать своё имя, и разговор меняется — улыбки гаснут, вопросы становятся острее, а иногда собеседник и вовсе предпочитает уйти. Он не знает, кем были его родители, знает только, что они были революционерами и что их фамилия до сих пор отзывается в людях страхом или ненавистью спустя двадцать пять лет после войны. Поиск матери приводит Карла в министерство, где бумаги говорят меньше, чем взгляды чиновников, а вопросы о прошлом притягивают внимание тех, кому правда невыгодна — Флика Херсвога и Вождя, мечтающего прибрать к рукам весь континент. Чем глубже Карл копает, тем очевиднее: кто-то очень заинтересован в том, чтобы история его семьи осталась похороненной. Что он найдёт первым — ответ на вопрос, кто он такой, или причину исчезнуть вслед за своими родителями?

Содержание

Глава 1 Карл Вайт	6
Глава 2. История прошлого от Шона Франта.	21
Глава 3. Чёрный ворон.	35
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Последствия не моих решений. Часть 1

Глава 1 Карл Вайт

Будильник заверещал в 05:20, и я открыл один глаз навстречу бирюзовому свету, который просачивался в щель между шторами. На улице моргала вывеска, кажется, круглосуточного магазина через дорогу, и каждые полторы секунды комната окрашивалась в неестественный, слишком насыщенный оттенок, какого не бывает ни в природе, ни в приличных местах. Я потянулся рукой, нашарил ГП на тумбочке, отключил сигнал. Часы показывали 05:27. Семь минут я лежал как убитый, значит, будильник трезвонил без толку, а я этого даже не запомнил.

Перевернулся на спину, тяжело вздохнул, уставился в потолок, где трещина расползалась от угла, будто кто-то однажды решил, что дому пора стареть, и подал заявку. Закрыв глаза ещё на пять минут. Пообещал себе, что ровно на пять, и, кажется, не соврал — когда снова открыл их, часы показывали 05:34.

Сел на краю кровати. Напротив, у шкафа, висело зеркало в облезлой раме — ещё от прежних жильцов, наверное, я его не покупал. Посмотрел на себя и не узнал. Не в том смысле, что лицо изменилось, а в том, что вид у меня был такой, будто я трое суток разгружал вагоны где-то. Мешки под глазами, серая кожа, которую даже неон не красил, волосы торчком. А ведь лёг я вчера в десять вечера, как приличный человек перед важным днём. Видимо, организм решил, что отдыхать по расписанию — это для слабых.

Собеседование в ДМГ сегодня. Подумал об этом и почувствовал, как где-то в районе желудка неприятно тянет, то ли от голода, то ли от того самого предчувствия, которое накатывает всегда перед тем, как тебе предстоит объяснять незнакомым людям, кто ты такой. Ладно, подумал я, надо вставать, нечего тут сидеть и жалеть себя в зеркале.

Пошёл в ванную. Вода из крана шла сначала ржавая, потом, через пару секунд, нормальная — старая труба, никто чинить не собирался, да я и не жаловался особо, привык. Умылся, почистил зубы, посмотрел ещё раз на себя, уже при нормальном свете лампы над раковиной, — чуть лучше, но до человека мне было ещё далеко.

На кухне было тесно, но мне нравилось. Холодильник и шкафчики тёмно-коричневого дерева, или того, что его имитировало, явно родом из какого-то прошлого века, который у нас в школе толком не проходили — программа обрывалась где-то на том месте, где начиналась неудобная часть истории. Мне нравился этот стиль, старомодный, тяжёлый, без лишних датчиков и сенсорных панелей, как будто кухня ещё помнила времена, когда вещи делались на подольше, чем на пару лет.

Сварил кофе в старой турке — ещё один пережиток. Пах он резко, горько, именно так, как мне нравилось. Пока кофе доходил, достал из шкафчика плитку шоколада, отломил пару долек, закинул в рот и запил всё это кофе, не особо заботясь о последовательности. Завтрак никогда не был моей сильной стороной, если уж быть честным, — мысль о яичнице в такую рань вызывала у меня почти физическое отвращение.

Сиротам везёт нынче, подумал я, оглядывая свою кухню. В наше время иметь отдельную квартиру с ванной и кухней — это почти роскошь, особенно для тех, кто вырос в приюте в Сент-Генте, где на комнату было по шесть коек и один санузел на этаж. Мне досталась эта квартира от государства, по какой-то программе поддержки, название которой я уже и не пом-

нил, да и не хотел помнить. Главное, что углы были мои, и дверь закрывалась на замок, и никто не будил меня по расписанию, кроме меня самого.

Допил кофе, почувствовал на языке ментоловое послевкусие от зубной пасты, смешанное с горечью, и это сочетание было до того неприятным, что я, не раздумывая, полез за сигаретами. Закурил прямо на кухне, у открытой форточки, выдохнул дым в сторону улицы, где туман за окном стоял плотной стеной, подсвеченный снизу той же назойливой вывеской.

Докурил, затушил окуроч в блюдце, которое служило мне пепельницей уже года два, и пошёл одеваться. В шкафу висел тёмно-синий костюм-тройка, купленный на распродаже пару недель назад — стоил он, чемтно говоря, не больше, чем нормальный ланч в приличном кафе где-нибудь в Центр-Генте, но сидел хорошо, и мне нравилось, как я в нём выгляжу. Надел белую сорочку, застегнул воротник, посмотрел на галстук, который так и висел на вешалке нетронутым, и решил, что обойдусь без него. Без галстука выглядело строже, честнее что ли, без лишнего пафоса.

Взял с тумбочки ГП, закрепил его на запястье — маленький металлический браслет, холодный на ощупь, тут же завибрировал, подключаясь к сети, высветив время и температуру за окном. Плюс три, влажность высокая. Стандартный сентябрь для нашего региона, когда тепло только в ощущениях тех, кто никогда не выходил из Центр-Гента дальше кольцевой.

Постоял с секунду у двери, глядя на свою квартиру — не бог весть что, но моя. Темно-коричневая мебель, зеркало в облезлой раме, блюдце с окурками. Подумал мельком, что, может, сегодняшний день ничего особо не изменит, пройдёт как ообычая среда собеседований, и я вернусь сюда же, в тот же беспорядок, с той же трещиной на потолке. А может, и нет. Было в этом утре что-то, чему я не мог подобрать названия, какое-то смутное ощущение, будто я стою на пороге не квартиры, а чего-то побольше, и что бы ни случилось сегодня в здании ДМГ, обратно я вернусь уже немного другим человеком.

Отогнал эту мысль — слишком рано для философии, слишком рано вообще для чего бы то ни было, кроме как добраться до остановки, не опоздав на транспорт. Взял ключи, выключил свет на кухне, вышел за дверь и запер замок, привычно дёрнув ручку дважды, чтобы убедиться.

* * *

На улице воздух ударил холодом сразу под воротник, туда, где не было галстука и некому было прикрыть шею. Сентябрь в Сент-Генте не притворялся, что он сентябрь где-то ещё, в Центр-Генте, где пелену разгоняют вентиляционные башни и воздух стоит ровный, кондиционированный почти до самой земли. У нас такого не было. У нас смог лежал плотной массой от крыш пятиэтажек до самых облаков, и невозможно было сказать, туман это или выхлоп старой котельной на углу, а скорее всего — и то и другое вперемешку, слипшееся за десятилетия в одну субстанцию, которую даже ветром толком не сдувало. Снизу эту муть подсвечивали рекламные баннеры и вывески ночных ещё не потушенных заведений, и от этого смог приобретал нездоровые оттенки: с одной стороны улицы наливался фиолетовым, с другой — рвался жёлтыми вспышками, будто кто-то плеснул в туман разбавителем и поджжёг.

Я поднял воротник пальто, хотя куда там было поднимать, воротник у костюма тройки короткий, декоративный скорее, и от ветра он не спасал никак. Закурил на ходу, прикрывая зажигалку ладонью, затянулся и почувствовал, как горячий дым немного примирил меня с этим утром.

До остановки идти было минут семь, мимо рядов пятиэтажек с нашитыми поверх старого фасада современными модулями — где-то пристроили балкон с солнечными панелями, где-то вывели наружу короб кондиционера, и всё это торчало на домах как заплатки на старом пальто, не скрывающие возраст вещи, а наоборот подчёркивающие его. Мусорные баки у подъездов стояли переполненные, кто-то не донёс пакет и просто бросил его рядом, и теперь по асфальту тянулся мокрый след, размазанный шинами проезжавших машин.

На остановке было людно, как обычно в это время. Народ толпился под навесом с облупленной рекламой какого-то пива, которое уже лет пять как не производили, и топтался, пытаясь согреться, выдыхая пар, смешивавшийся с общим туманом так, что было уже не разобрать, где чьё дыхание. Кто-то жевал бутерброд на ходу, кто-то утыкался в проекцию на внутренней стороне запястья, и по лицу было видно, как бегают зрачки, читая новости или переписку. Полтора часа до центра — это у нас норма, и никто не жаловался вслух, потому что жаловаться было некому: линию метро через Сент-Гент обещали ещё когда я был в приюте, и я подозревал, что обещать будут ещё лет двадцать, пока кто-нибудь не умрёт от старости, так и не дождавшись.

Я встал с краю, чуть в стороне от основной массы, и тут же поймал на себе взгляд — женщина лет пятидесяти в рабочем комбинезоне с логотипом уборочной службы скользнула глазами по моему костюму, задержалась на лацканах, потом на ботинках, и как-то неопределённо хмыкнула, отвернувшись. Рядом парень помоложе, весь увешанный гаджетами, с ГП вживлённым прямо в висок, так что сквозь кожу проступал тонкий светящийся шов, тоже окинул меня взглядом, слегка прищурившись, будто пытался распознать, из какого я времени выпал.

Понимаю их. Стою тут в сорочке и костюме-тройке, без единой нашивки, без единого проводка, торчащего из воротника, без подсветки на манжетах, без ничего, что хотя бы отдалённо намекало на 3025 год. Чистая классика, музейный экспонат, ожившая картинка из учебника истории, тот самый раздел, который у нас в школе быстро пролистывали, потому что дальше шли вопросы, на которые учителя не любили отвечать.

Может, дело было не в костюме вовсе, а в том, что люди на остановках Сент-Гента привыкли видеть друг друга одинаковыми: приглушённые цвета, рабочая одежда, никакой выделки, потому что выделка — это роскошь, а роскошь здесь не водится. А я взял и нарядился, как на похороны или на собственную свадьбу, сам не знаю зачем, вроде бы хотел произвести впечатление на какого-то безликого рекрутера в ДМГ, а получилось, что произвёл впечатление на половину остановки раньше, чем добрался до работы.

Первые несколько минут эти взгляды меня немного царапали, потом я привык, как привыкаешь к мелкому дождю — вроде мокро, но не настолько, чтобы бежать. В конце концов, ну и ладно, пусть смотрят. Может, подумают, что я юрист из центра, заблудившийся в нашем районе, или сын какого-то чиновника, решивший прокатиться по трущобам ради острых ощущений. Правду никто бы всё равно не угадал. Правда была скучнее: костюм стоил как один приличный ланч на распродаже, и я просто хотел хоть раз в жизни выглядеть так, будто меня где-то ждут, а не терпят.

Подошёл шатл, старый, с облезшей рекламной плёнкой на боку, двери открылись с тем же хриплым шипением, что и десять лет назад, когда я впервые ездил на нём из приюта в город на какую-то обязательную медкомиссию. Народ полез внутрь плотной массой, толкаясь привычно, без злобы, просто по необходимости: сидячих мест было вдвое меньше, чем нужно, и каждый, кто успевал сесть, считал это маленькой личной победой. Мне места не хватило, да

я особо и не стремился, встал у поручня возле окна, за которым плыл всё тот же туман, всё та же пелена, подсвеченная теперь уже не вывесками, а фарами встречных машин.

В салоне было тепло, даже душно, пахло мокрой тканью и чьим-то утренним кофе из термокружки, и я снова почувствовал на себе взгляды — на этот раз от сидящего рядом парня в рабочей куртке, который разглядывал меня с ленивым любопытством, как разглядывают витрину магазина, в который сам никогда не зайдёшь. Я отвернулся к окну, сделал вид, что меня больше интересует туман за стеклом, чем чужое внимание.

Шатл набирал скорость, насколько это вообще было возможно на разбитой дороге окраины, подпрыгивал на выбоинах, отчего стоящие пассажиры хватались за поручни, а я думал о том, что еду через полтора часа тумана ради кабинета, в котором, может быть, кто-то даже не взглянет на мою фамилию внимательно, а может быть, взглянет так, что лучше бы вообще не ехал. Где-то там, впереди, за этой пеленой, был центр, были высотки, была станция Н-17 и человек по фамилии Херсвог, которого я ещё не видел и даже не представлял, какое у него лицо. А пока была только дорога, туман, чужие взгляды и запах мокрой одежды в тесном салоне автобуса, медленно ползущего в сторону города, которого я не выбирал, но в котором мне суждено было жить, работать и, видимо, однажды столкнуться с тем, от чего все вокруг так старательно отводили глаза.

* * *

Шатл выплюнул меня на станции Н-17 вместе с ещё двумя десятками людей, и туман тут был другой, не тот, что в Сент-Генте, — жиже, светлее, будто его стирали порошком. Площадь передо мной уходила вдаль метров на двести, вся в плитке, с рядами припаркованных машин, которые стояли так ровно, словно их расставлял не человек, а линейка. Я поднял взгляд выше рекламных щитов, выше козырьков подземных переходов, и увидел его.

Здание ДМГ торчало из земли этажей на сорок, прямое, холодное, с неоновой вывеской наверху, которая даже в сером утреннем свете горела так, будто ей было плевать на день и ночь. Цокольный этаж был выполнен из стекла почти во всю ширину фасада, автоматические двери то открывались, то закрывались, впуская и выпуская людей в одинаковой униформе, и от этого ритма — хлопок, хлопок, хлопок — делалось не по себе, будто здание дышит. На крыше торчали антенны связи и приёмники, издалека похожие на густую траву, которая решила вырасти там, где ей совсем не место.

Я достал сигарету, прикурил, постоял немного, глядя на это всё снизу вверх. Костюм на мне сидел неплохо, но рядом с этим стеклом и сталью он казался даже не старомодным, а каким-то вещественным доказательством из чужого дела. Докурил до половины, затушил о край урны и пошёл ко входу, стараясь не думать о том, что весь мой план на сегодня держится на честном слове рекрутера и хорошей рекомендации с прошлой работы.

Двери разъехались передо мной бесшумно, и первое, что ударило, — это свет. Белый, ровный, без единой тени, отражался от плитки на полу так, что казалось, будто я иду по зеркалу, которое кто-то положил горизонтально специально для того, чтобы человек видел себя со всех сторон одновременно. Хотелось зажмуриться или быстрее пройти этот этаж насквозь, но идти было особо некуда — у стойки меня уже ждали.

Он стоял ровно, руки сложены перед собой, в стандартной униформе ДМГ — серо-синий костюм с логотипом на груди, настолько отутюженный, что казался нарисованным. Когда я

подошёл ближе, он улыбнулся, и улыбка эта была из тех, что сразу заставляют тебя пересчитать зубы собеседника, хотя никто тебя об этом не просил.

— Доброе утро, меня зовут Карл Вайт, я по поводу вакансии руководителя промышленного участка, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровнее, чем я себя чувствовал.

— Доброе утро, мистер Вайт, — он слегка наклонил голову, — я ассистент руководителя по подбору персонала Digital Motor Group, Флик Херсвог. Очень приятно познакомиться.

— И мне приятно, — ответил я, хотя взгляд уже тянуло в пол, лишь бы не смотреть в эти его белые тридцать два зуба. Если их действительно было тридцать два, подумал я, потому что пересчитать так и не рискнул.

— По поводу вашей вакансии, — продолжил он тем же ровным, слишком доброжелательным тоном, — вас утвердили. Осталось лишь формальность: заполнить документы для приёма на работу, и будет назначен ваш первый рабочий день.

Я кивнул, чувствуя, как где-то под рёбрами что-то отпускает. Значит, не зря ехал полтора часа через смог в костюме.

— Пройдёте, я вас провожу, — сказал Флик.

— Да, конечно.

Он развернулся первым, чётко, будто по команде, и пошёл вперёд по белому полу, а я на секунду задержался взглядом на его отражении в плитке. И вот тут улыбка, та самая, тридцатидвухзубая, вежливая до приторности, просто исчезла. Не растаяла постепенно, а будто кто-то выключил рубильник: на лице, развёрнутом от меня, не осталось ничего, кроме спокойного, абсолютно каменного выражения, с каким смотрят на инвентарную опись, а не на живого человека. Я моргнул, будто проверяя зрение, но плитка держала картинку ровно столько, сколько нужно, чтобы я всё увидел и не успел ничего сказать.

Какое двуличие, подумал я, чуть замешкавшись, и шагнул следом, стараясь, чтобы шаг получился таким же естественным, как и до этого.

Мы прошли через пропускной пункт — рамку с камерами-считывателями, которые мигнули зелёным, едва я оказался в створе, и тут же почти без паузы повернули налево. Дальше была лестница вниз, и я удивился про себя: в наше время, когда каждый метр земли вроде бы перепродан десять раз, кто-то ещё строит коридоры под землёй, да ещё такие длинные. Коридор тянулся, по обеим сторонам шли двери с номерами кабинетов, одинаковые, светлые, без единой царапины, и ни одного окна на всём протяжении, только искусственный свет сверху, холодный, с лёгким гулом вентиляции где-то за потолочными панелями.

Флик шёл впереди ровным шагом, не оборачиваясь, не проверяя, иду ли я следом, будто был уверен в этом абсолютно, как в факте физики. Я смотрел ему в спину и думал, что было бы неплохо, если бы он хоть раз оглянулся — не из вежливости, а просто чтобы я ещё раз увидел его лицо и убедился, что мне не почудилось.

— Здесь довольно тихо, — сказал я, просто чтобы не идти молча.

— У нас строгий протокол по уровню шума на этом этаже, мистер Вайт, — ответил он, не оборачиваясь. — Комфорт сотрудников превыше всего.

Он произнёс это так гладко, что фраза проскочила мимо ушей, не зацепившись ни за что, и я подумал, что, наверное, он проговаривает эти слова по десять раз на дню каждому новому человеку, которого ведёт по этому коридору.

Дурное предчувствие, появившееся ещё на входе, когда двери разъехались передо мной с этим бесшумным хлопком, теперь разрослось во что-то более конкретное, похожее на то ощущение, которое я помнил по восемнадцати годам, когда нас с Генри полдня держали в комнате для разговоров после какой-то потасовки возле клуба, и никто ничего не объяснял, просто ждал, когда ты сам начнёшь говорить лишнее. Здесь было то же самое: длинный коридор, одинаковые двери, тишина, в которой каждый твой шаг звучит слишком громко, и человек впереди, который знает, куда идёт, а ты нет.

Я незаметно тронул ГП на запястье, будто проверяя, на месте ли он, хотя проверять там было нечего, просто хотелось зацепиться рукой за что-то знакомое. Коридор свернул ещё раз, потом ещё, и у меня начало складываться ощущение, что меня ведут не оформлять бумаги, а куда-то глубже, туда, откуда не выводят такими же короткими путями.

— Ещё немного, мистер Вайт, — сказал Флик, будто почувствовал, что я начал считать повороты. — У нас действительно легко заблудиться первое время. Я вас потом провожу обратно, не переживайте.

— Было бы неплохо, — ответил я, стараясь, чтобы в голосе прозвучала хоть капля той же лёгкости, что и в его.

Он чуть обернулся на этих словах, и улыбка снова была на месте, широкая, ровная, будто её и не выключали пять минут назад. Я улыбнулся в ответ, кивнул, и мы пошли дальше по коридору, в котором с каждым метром становилось всё меньше воздуха и всё больше того ощущения, что я иду не на собеседование, а на что-то такое, для чего собеседование было лишь приличным предлогом.

* * *

Коридор наконец вывел нас к лестничному пролёту, узкому, с металлическими перилами, и мы спустились ещё на один этаж вниз. Я считал ступеньки машинально, двенадцать, потом площадка, потом ещё двенадцать, и подумал, что для здания, построенного в эпоху, когда любой клочок земли под мегаполисом стоит состояние, странно видеть такую щедрость в подземных коридорах. Я всегда думал, что под высотками в центре Гента разве что коммуникации да парковки, а оказалось — ещё этажи кабинетов, одинаковых, без окон, будто вырезанных одним штампом и расставленных по линейке.

— Не ожидал, что здесь так много всего под землёй, — сказал я, просто чтобы заполнить тишину, которая давила сильнее, чем могла бы давить любая реплика.

— Многие удивляются, мистер Вайт, — ответил Флик, не сбавляя шага. — Но так рациональнее. Верхние этажи для клиентов и переговорных, здесь — техническая часть компании. Меньше внимания, меньше шума.

Меньше внимания. Я повторил про себя эти два слова и не нашёл в них ничего, кроме как ещё один повод для того ощущения в груди, которое я таскал с собой с самого входа в здание.

Кабинет 407 оказался точно таким же, как десятки дверей, мимо которых мы прошли: белая табличка, номер, ни окна, ни намёка на то, что за ней находится. Флик открыл дверь, не заходя внутрь, придержал её рукой и кивнул на стол.

— Проходите и садитесь за стол. Как заполните, выйдите из кабинета, я буду неподалёку.

— Хорошо.

Он не стал дожидаться, пока я войду полностью, развернулся и пошёл обратно по коридору, и я остался один в узком помещении с одним столом, одним стулом и стопкой бумаг ровно посередине столешницы.

Я сел. Стул оказался неожиданно удобным, с мягкой спинкой, будто кто-то продумал, что человек должен чувствовать себя спокойно именно в тот момент, когда подписывает документы, которые читать толком никто не читает. На верхнем листе крупными буквами значилось: «Инструкция по технике безопасности на производственных участках ДМГ», дальше шли разделы, подразделы, сноски мелким шрифтом, и я представил, сколько таких же листов подписали до меня люди в такой же белой плитке коридора наверху, с такими же каменными лицами под масками вежливости.

В наше время не нужно было ничего рассказывать о себе лично, компания сама запрашивала всё из единой системы, твою трудовую историю, рекомендации, судимости, если они были, биометрию, проверенную ещё на входе через камеры-считыватели. Раньше, наверное, сидел бы напротив кто-то с папкой и спрашивал в лоб: кто твои родители, чем занимались, где сейчас. Теперь такие вопросы не задают, потому что ответы уже лежат где-то в базе, ждут, пока кто-то решит их прочитать внимательнее, чем для галочки.

И вот это «решит прочитать внимательнее» сидело у меня внутри холодной иглой с самого утра. Рекомендация с прошлого места была хорошая, сам я никогда ничего противозаконного не делал, жил тихо, работал исправно, и всё же я знал, знал где-то на уровне, более старом, чем любая логика, что рано или поздно кто-то свяжет фамилию Вайт с тем, что случилось тридцать лет назад, и тогда вся эта хорошая рекомендация не будет стоять ни единого листа бумаги.

Флик это уже сделал. Я был почти уверен. Та улыбка в тридцать два зуба и то каменное лицо, мелькнувшее в отражении плитки, были не случайностью и не игрой света.

Звон в ушах начался тихо, с правой стороны, как будто кто-то поднёс к уху ракушку и там зашумело море, только моря я никогда не видел и не знал, как оно звучит на самом деле, просто так говорили в детстве в приюте, когда прикладывали к уху пустую банку из-под консервов, выдавая её за ракушку. Звон нарастал, в груди стало тесно, будто кто-то туго перетянул рёбра изнутри, руки на мгновение онемели, и я вцепился пальцами в край столешницы, прижал ладони к холодному пластику, досчитал про себя до семи, медленно, с паузой на каждой цифре, как советовал мне когда-то воспитатель в приюте, худая женщина с вечно уставшим лицом, которая первая заметила, что со мной бывает такое.

На счёте семь звон начал отступать, будто кто-то медленно выкручивал громкость в обратную сторону. Я выдохнул, посмотрел на свои руки, они снова были просто руками, не чужими, не ватными. Ладно. Хватит. Дыши и читай дальше, Вайт, подумал я, других вариантов всё равно нет, не вставать же и не бежать из кабинета с криком, что мне всё это не нравится.

Я заставил себя дочитать инструкцию до конца, хотя слова плыли перед глазами и смысл половины пунктов проходил мимо, что-то про защитные каски на третьем уровне производства, про запрет на использование личных кибер-гаджетов возле манипуляторных линий, про штрафы за нарушение протокола эвакуации. В самом низу страницы стояла строка для подписи, и я поставил свою, привычным росчерком, тем же самым, которым подписывал документы в приюте, когда мне исполнилось восемнадцать и нужно было забрать личное дело, которого, как потом оказалось, толком и не было.

Я встал, одёрнул пиджак костюма-тройки, вышел из кабинета 407 с папкой в руках. Флик стоял в коридоре метрах в пяти, прислонившись плечом к стене, и смотрел на меня с тем же выражением, с которым встретил меня на входе, широким, ровным, будто приклеенным.

— Вы уже закончили, мистер Вайт?

— Да.

Я протянул ему папку. Он взял её двумя руками, аккуратно, как будто внутри лежало что-то хрупкое, пролистал глазами подпись, не особо вчитываясь, и снова поднял взгляд на меня.

— Что ж, вам пришлют дату и время начала работы, а также трудовой договор в ближайшее время. Ожидайте сообщения по ГП.

— Хорошо, буду ждать.

— Давайте я провожу вас, мистер Вайт. У нас действительно легко заблудиться, особенно в первый раз.

— Да, конечно, — ответил я, и мне на секунду захотелось спросить его напрямую, знает ли он, кто были мои родители, просто чтобы перестать гадать и жить в этом подвешенном состоянии ещё хоть пару часов, но вместо этого я просто кивнул и пошёл следом за ним по коридору, туда же, откуда мы пришли, мимо тех же дверей без окон, мимо того же холодного гула вентиляции где-то под потолком.

* * *

Флик довёл меня до стеклянных дверей цокольного этажа, где воздух уже отличался от того, что был внутри, более живой, с запахом табака и выхлопов от машин на площади. Остановился, не заходя в сам тамбур, будто боялся выйти за какую-то невидимую границу своих полномочий.

— Что ж, мистер Вайт, рад был с вами познакомиться, — сказал он, и улыбка его снова растянулась до тех самых тридцати двух зубов, которые я уже один раз пересчитывал мысленно утром. — Удачи вам на новом месте.

— Спасибо, — ответил я, не зная, что ещё можно добавить к этому.

Он кивнул, развернулся на каблуках своих до блеска начищенных туфель и пошёл обратно вглубь коридора, откуда мы пришли, мимо камер со считывателем, мимо той самой белой плитки, в которой всё ещё, наверное, можно было разглядеть чужие лица, если знать, куда смотреть. Я остался один у выхода, среди потока людей, который в это время только набирал силу.

Они шли мимо меня косяками, будто кто-то расписал смены по минутам и все обязаны были явиться к девяти ровно, не раньше, не позже. Все в одинаковой форме, тёмно-синие жилеты поверх серых рубашек, у всех на груди одинаковый логотип ДМГ, у кого-то бейдж на отвороте, у кого-то планшет в руке с каким-то графиком, который они просматривали на ходу, не поднимая взгляда под ноги, будто и так знали, куда идти, будто ноги сами несли их по одному и тому же маршруту уже столько лет, что думать об этом не было смысла.

Я стоял на верхней ступеньке лестницы, ведущей вниз, в тот самый тамбур, и просто смотрел. Женщина в форме прошла мимо, не глядя на меня, следом двое мужчин что-то обсуждали вполголоса про квартальный план, дальше ещё один, пожилой уже, лет под шестьдесят, с седой щетиной и тем же самым синим жилетом, что и у всех, и у меня почему-то мелькнула мысль, сколько лет он здесь ходит, сколько раз он уже проходил этот цокольный этаж, сколько раз видел эту плитку, эту белизну, этого Флика или кого-то до Флика, кто точно так же улыбался новеньким, а потом каменел, стоило им отвернуться.

Я попал в систему, подумал я, и мысль эта была такой простой и такой тяжёлой одновременно, что я не сразу понял, откуда она взялась, будто она не родилась только что, а давно уже сидела где-то внутри, ждала момента, чтобы вылезти наружу. Не в смысле устроился на работу, нет, не в этом дело было. А в том, что вот эти все люди тоже когда-то стояли точно так же, в свой первый день, может, тоже в костюме, который казался им слишком хорошим для такого места, и тоже смотрели на этот поток форменных жилетов и думали, что они-то точно не станут такими же, что у них всё по-другому, что это временно, пока не найдётся что-то получше. А потом проходило десять лет, пятнадцать, и вот ты уже идёшь с планшетом в руке, не поднимая взгляда, потому что и так знаешь дорогу.

Устроился с первого раза, без вопросов, без проверок, подписал бумажку про каски и манипуляторные линии, и вот ты уже часть чего-то большего, часть механизма, который работает без остановки, который тебя переварит так же, как переварил вот этого седого с планшетом.

Звон начал подниматься где-то в затылке, тонкий, почти незаметный поначалу, будто кто-то включил звук очень далеко, на самой грани слышимости. Я знал этот звон, слишком хорошо знал, чтобы спутать его с чем-то другим, он всегда начинался одинаково, с этой фоновой ноты, а потом набирал высоту, пока не превращался в то самое гудение консервной банки у уха, которое воспитательница в приюте когда-то выдавала за шум моря.

Я поднял взгляд от потока людей наверх, туда, где заканчивалось здание ДМГ и начиналось небо, серое, плотное, с тяжёлыми тучами, которые висели так низко, что казалось, цепляются брюхом за антенны на крыше. Ни просвета, ни намёка на солнце, только это равномерное свинцовое полотно, растянутое над центром Гента, над всеми этими сорока этажами стекла и бетона, над площадью с припаркованными машинами, над всем этим.

И звон оборвался. Не затих постепенно, как в кабинете 407, когда я считал до семи, а именно оборвался, резко, будто кто-то выдернул шнур из розетки. В ушах стало пусто и тихо, настолько тихо, что я даже уловил, как где-то рядом автоматическая дверь зашипела, выпуская очередную партию сотрудников наружу.

Я стоял так ещё секунд десять, может, пятнадцать, пытаюсь понять, что это было, прислушиваясь к себе, не вернётся ли снова, но нет, не возвращалось. Просто серое небо, просто тучи, просто я, стоящий на ступеньке в своём старомодном костюме-тройке, который по словам Генри должен был напомнить кому-то моего отца.

Я вытащил из внутреннего кармана пиджака мятую пачку сигарет, достал одну, чуть помял фильтр пальцами, привычно, закурил. Первая затяжка была горькой, будто табак отсырел за те полчаса, что лежал у меня в кармане в этом здании с кондиционированным воздухом. Выдохнул дым в сторону площади, туда, где он тут же растворился в общем сером мареве, которое висело над городом с самого утра, и даже здесь, в центре, не до конца рассеялось, просто стало прозрачнее, чем в Сент-Генте.

Посмотрел на часы. Девять утра, циферблат показывал ровно, без пяти минут, без лишних секунд, просто девять, и мне вдруг подумалось, что всё это заняло у меня чуть больше трёх часов, с того момента, как я вышел из квартиры, до этой самой секунды, когда я стою на лестнице чужого здания с сигаретой в руке и смотрю на часы, будто жду от них какого-то ответа, которого они дать не могут.

До встречи с Генри в Центр-Генте оставалось ещё почти два часа, кафе открывалось позже, да и он сам говорил, что раньше одиннадцати не встаёт, если дело не касается денег. Я мог бы пройти пешком, срезать через пару кварталов, посмотреть на город в это время, когда туман только-только начинает подниматься над крышами, открывая настоящие цвета зданий, а не те, что рисует смог.

Докурил сигарету до фильтра, затушил окурком о край урны, стоявшей рядом со ступеньками, кинул его внутрь. Ещё раз обернулся на здание ДМГ, на его стеклянный цокольный этаж, на антенны на крыше, которые отсюда, снизу, действительно напоминали заросли высокой травы, как мне показалось ещё утром, и подумал, что через несколько дней я буду заходить сюда уже не как гость, а как один из тех, в синем жилете, с бейджем на груди, идущий не поднимая взгляда, потому что маршрут уже выучен.

Поправил пиджак, застегнул единственную пуговицу на жилете под ним, развернулся спиной к зданию и зашагал в сторону Центр-Гента, туда, где меня ждал Генри со своими вопросами и своей фирменной ухмылкой, с которой он всегда говорил о вещах, которые, судя по всему, были для него куда менее серьёзными, чем для меня.

* * *

Мы встретились в кафе-баре «Зелёный лист». Большая зелёная вывеска с изображением листа дерева подсвечивала расходящийся туман, заведение только открылось, мы с Генри явно были первыми.

— Эй, Карл!

Я обернулся и увидел Генри в метрах двадцати от меня, он махал мне рукой, будто мы не виделись месяц, а не позавчера. Я махнул в ответ и зашагал навстречу.

— Привет, Генри.

— Привет, Карл.

Мы пожали руки, он чуть задержал мою ладонь, разглядывая меня сверху вниз, с той своей ухмылкой, которая у него появляется, когда он уже придумал шутку и теперь только ждёт повода её выпустить.

— Ты как, Карл?

— Нормально. Толком собеседования не было, меня сразу взяли.

Генри скривил физиономию, удивлённую, почти театральную, будто я ему сказал, что выиграл в лотерею, которую он сам же считал мошенничеством.

— Интересно. Интересно. И никто не задавал тебе каверзных вопросов относительно твоей фамилии?

— Нет, — ответил я напряжённо, чуть быстрее, чем следовало.

Мы вошли внутрь. Хостес встретил нас сразу у входа, провёл к столику у окна, положил на стол планшет с меню. Кафе выглядело в ирландском стиле: тёмное дерево мебели, тёмно-зелёные плотные шторы, свет приглушённый, будто здесь всегда раннее утро, даже когда снаружи полдень. Мы заказали по ланчу, недорого и вкусно, как и обещал Генри.

— Карл, — он облокотился на стол, — а тебе не кажется странным, что никто последний год не уделяет внимание твоей фамилии и тому, кем были твои родители?

— Я не знаю, Генри. Может, все забыли и отпустили это в прошлое.

— Революцию не отпускают в прошлое. Всех, кто в ней участвовал, преследуют и следят.

Я бросил взгляд на соседний столик, пустой, потом на хостеса у входа, который возился с меню для следующих посетителей.

— Генри, не будем об этом здесь, иначе кто-то вздумает вызвать полицию, и будем сидеть на допросах неделю. Как тогда, когда нам было по восемнадцать. Помнишь?

— Да, согласен с тобой. — Он поднял руки в примирительном жесте, но в глазах у него всё равно оставался этот блеск, с которым он не умел расставаться. — Но ты же, чёрт возьми, Вайт. От этого не избавиться.

Нам принесли напитки, кофе для меня, что-то газированное и ярко-зелёное для него. Я закурил, несмотря на вывеску на стене, которая запрещала курение внутри, но хостес сделал вид, что не заметил, и это в очередной раз напомнило мне, что правила для одних всегда немного гибче, чем для других.

— Знаешь что, Генри?

— Хм?

— Флик. Флик Херсвог. Ты можешь попросить своих приятелей пробить его?

Генри приподнял бровь, отпил из стакана, поставил его обратно на подставку с преувеличенной аккуратностью.

— Ммм, да. Почему нет. Что тебя в нём так привлекло? Шишка большая?

— Нет. Он ассистент. Очень странный тип. Безумная улыбка, невозможно смотреть ему в лицо. Но как только он повернулся от меня, я увидел отражение в плитке на полу.

— И?

— Его лицо стало резко каменным. Как будто он увидел смерть. Или задумал меня убить.

Генри хмыкнул, но без обычной иронии, скорее так, как хмыкают, когда в голове щёлкает что-то, что давно висело без ответа.

— Дааа. Ты же Вайт. Вот теперь узнаю ситуацию. Хорошо, я узнаю. Встретимся, как будет возможность.

— Хорошо.

— Не думаю, что в ДМГ убивают людей. Скорее наоборот, вербуют, чтобы ты вечно работал на них.

— Возможно. Как думаешь, у меня будут проблемы в связи с прошлым моих родителей?

Он посмотрел на меня чуть дольше обычного, пауза, которую я у него редко видел, обычно он отвечал быстрее, чем я заканчивал вопрос.

— Конечно будут. Твои родители такую суету навели, жаль, что у них не получилось. Возможно, многое бы изменилось. Но не будем о грустном.

Нам принесли ланч. Мы ели молча какое-то время, и я думал о том, как вообще Генри, из обеспеченной семьи, с родителями, которые наверняка ни дня не стояли в очереди на остановке в Сент-Генте, сдружился со мной, человеком, обречённым на одиночество из-за того, на что я заранее никак не мог повлиять. Мы с ним одного года, учились вместе, с восьмого класса за одной партой, но он так и не смог привыкнуть к обычной жизни: всё крутится с хакерами, занимается, если честно, мутными делами, я даже толком не знаю, чем он зарабатывает и как. Ростом он чуть выше меня, где-то сто восемьдесят семь, вес в районе восьмидесяти, причёска каре, русые волосы, голубые глаза, приметы что надо для того, чтобы мутить что-то противозаконное и при этом выглядеть так, будто ты просто зашёл выпить кофе. Одежда у него тоже подходящая: джинсовые костюмы разных цветов, увешанные кибер-гаджетами, которые на мне смотрелись бы как новогодняя ёлка, а на нём почему-то органично.

Генри доел, вытер рот салфеткой и посмотрел на меня с тем выражением лица, которое обычно предшествовало какой-нибудь колкости.

— О, кстати, милый костюмчик. Ты им чё, хотел впечатлить начальника? Или собрался в театр, на «Маленького принца»?

— Да мне просто нравится он, вот и взял. Всё равно он стоил, как наш с тобой ланч.

— Конечно, ширпотреб прошлого даром могут отдать.

— Что такого, что я в костюме?

— То, Карл, что ты привлекаешь к себе больше внимания, чем думаешь. Если ты не знал, а ты, видимо, не знаешь, твой отец всегда ходил в тройке. С галстуком. Неудивительно, почему Херсвог вёл себя так.

Я на секунду перестал жевать. Вилка зависла где-то на полпути ко рту, и я медленно опустил её обратно на тарелку.

— Да ну?

— Да ну.

— Да кто такие мои родители, Генри. Никто мне за двадцать пять лет жизни так и не рассказал толком, кто они, что они сделали и куда пропали. Ведь их так и не нашли.

Я услышал собственный голос со стороны, он звучал ровнее, чем мне казалось внутри, будто кто-то другой произносил эти слова вместо меня, а я просто стоял рядом и слушал. Генри посмотрел на меня долго, без привычной ухмылки, и я впервые за всё время нашего знакомства не смог понять, о чём он думает в эту секунду.

— Подвинься ближе, Карл.

Я не спеша облокотился на стол, потянулся к нему ухом. Он начал говорить тихо, почти шёпотом, и его голос в этот момент звучал совсем не так, как обычно, когда он шутит про мой костюм или про женщин в баре.

— Как ты знаешь, всех, кто был связан с твоими родителями, посадили или убили. Я скину тебе на ГП адрес одного человека, он тебе расскажет.

Я откинулся обратно на спинку стула и просто кивнул, не доверяя себе сказать что-то вслух. Через секунду на ГП пришло уведомление: адрес в Сент-Генте и имя. Шон Франт.

Я смотрел на имя на экране ГП, и мне вдруг подумалось, как мало я знаю о собственной жизни по сравнению с этим незнакомым человеком, который, судя по всему, знал о ней куда больше меня.

* * *

Генри придвинулся ближе через стол, и запах его кибер-гаджетов — что-то между озон и нагретым пластиком — перебил даже кофейный дух кафе. Голос его стал ниже, без привычных ноток издёвки, и это пугало больше, чем сами слова.

— Всех, Карл. Понимаешь? Всех, кто был связан с твоими родителями, посадили. Или убили. Кого не нашли сразу — нашли потом, спустя годы. Так что если ты думал, что про это молчат, потому что забыли, то нет. Молчат, потому что боятся.

Я молчал, глядя на крошки хлеба на скатерти между нами, будто в них можно было найти ответ получше.

— Скину тебе адрес, — продолжил он почти шёпотом, наклонившись ещё ближе, так что я видел капельки пота у него на виске, хотя в зале было прохладно. — Один человек. Он знал твоих родителей лично. Расскажет лучше меня.

— Почему не ты? — спросил я, и голос прозвучал глупо, по-детски, как будто я снова в восемнадцать лет сижу в участке и жду, когда за мной придёт воспитатель из приюта.

— Потому что я знаю обрывки. А он был там, Карл. С самого начала.

ГП на руке тихо пискнул, индикатор мигнул синим. Я поднял руку, на внутренней стороне руки высветилась строка: адрес в Сент-Генте, улица Старый Сент, дом тридцать семь. И имя. Шон Франт.

Я смотрел на буквы, пока они не погасли сами, и чувствовал, как внутри что-то холодно оседает, будто кто-то открыл форточку зимой в нетопленной комнате. Шон Франт. Я никогда не слышал этого имени. Двадцать пять лет прожил в Сент-Генте, где каждая вторая старуха у подъезда шипела что-то вслед, стоило назвать фамилию, и ни разу не слышал этого имени.

— Он живой? — спросил я.

— Живой. Выпустили несколько лет назад. Живёт тихо, почти ни с кем не разговаривает. Повезло ему, что он раньше всех разорвал связи, иначе бы и его бы не было.

Я хотел спросить ещё что-то, но Генри уже поднял руку, подзывая официанта, и разговор как будто закрылся сам собой, захлопнулся, как крышка чемодана, который не дают открыть второй раз подряд.

Мы расплатились — каждый за своё, как всегда, Генри принципиально не давал за меня платить, говорил, что не хочет, чтобы я чувствовал себя должным, хотя в его шуточном тоне явно звучало что-то другое, то ли жалость, то ли вина. Вышли на улицу. Туман над Центргентом к полудню почти разошёлся, и сквозь него пробивались острые лучи, резавшие глаза после полумрака «Зелёного листа». Генри достал сигарету, протянул пачку мне, я взял.

Мы закурили молча, стоя у вывески с зелёным листом, и несколько секунд просто смотрели, как по проспекту ползут автомобили с автопилотом, аккуратно соблюдая дистанцию, будто стадо дисциплинированных животных.

— Береги себя, Карл, — сказал наконец Генри и протянул руку.

Я пожал её, задержал на секунду дольше обычного.

— Конечно. И ты себя береги.

— За меня не беспокойся. — Он улыбнулся, но как-то криво, не так, как улыбался обычно, когда подкалывал меня насчёт костюма или женщин. — То, что ты узнаешь сегодня, перевернёт твою жизнь. Удачи.

Он развернулся и пошёл в сторону станции, не оборачиваясь, сунув руки в карманы джинсовой куртки, расшитой проводками, которые чуть светились на солнце синеватым. Я смотрел ему вслед, пока он не свернул за угол, и только тогда затушил сигарету о край урны.

До Сент-Гента ехать было почти полтора часа, и я поймал такси у ближайшей стоянки, автопилотируемое, старое, с потрёпанным салоном, пахнущим искусственной кожей и чьим-то чужим одеколоном. Машина плавно вписалась в поток нижнего кольца, и я уставился в окно на бесконечную вереницу автомобилей, стоящих почти вплоты друг к другу, мигающих стоп-сигналами, будто перемигивающихся между собой на каком-то своём языке.

Десять лет. Мы знакомы с Генри десять лет, с того самого класса в школе Сент-Гента, куда его, сына обеспеченных родителей, зачем-то определили учиться вместе с детьми из приюта и рабочих окраин — толи для разнообразия, толи потому что его отец где-то проштрафился и хотел, чтобы сын знал, как живут обычные люди. Десять лет мы пили вместе дешёвое пиво на крышах, прогуливали пары, он учил меня взламывать замки на велосипедных парковках, я учил его курить так, чтобы не кашлять с первой затяжки. И всё это время он знал. Знал, кто мои родители, что они сделали, куда пропали, и молчал, как будто это была просто ещё одна шутка, которую он придерживал для подходящего момента.

Машина застряла на светофоре, где-то впереди завывла сирена, пропуская кортеж с мигалками, видимо, кто-то из корпоративной верхушки ехал на обед. Я смотрел на красный свет сигнала и думал, что злость, которую я должен был бы чувствовать сейчас к Генри, почему-то не приходит. Вместо неё — пустота, холодная и ровная, как плитка в холле ДМГ. Может, он молчал, потому что боялся за меня. Может, потому что боялся за себя. Может, просто ждал, когда я сам созрею спросить напрямую, вместо того чтобы прятаться за шутками про костюмы и театр для детей.

Такси тронулось, проехало ещё километр, свернуло на эстакаду, ведущую к окраинам, и впереди, сквозь редящий туман, начали проступать знакомые силуэты пятиэтажек Сент-Гента, обвешанные самодельными пристройками, спутниковыми тарелками и бельевыми верёвками. Дом, в который я ехал, был где-то там, среди этих домов, и в нём жил человек, который, если верить Генри, знал обо мне и моих родителях больше, чем кто-либо из живущих.

Я ещё раз посмотрел на адрес — Старый Сент, тридцать семь, — и почувствовал, как внутри, под рёбрами, что-то сжимается, похожее на страх, но не совсем страх. Скорее то чувство, которое бывает перед экзаменом, к которому ты не готовился всю жизнь и теперь должен сдавать его за один вечер.

Сегодня, наконец, узнаю, почему моя фамилия для всех вокруг значит так много, а для меня самого — меньше всего на свете.

Глава 2. История прошлого от Шона Франта.

Подъезд встретил меня тем же запахом сырости, что и всегда, будто дом дышал через гнилые лёгкие вентиляции, которую не меняли с момента постройки. Лифт здесь не работал с весны, табличка «ведутся технические работы» висела на нём, кажется, дольше, чем я тут живу, и я поднимался пешком, как обычно, считая этажи не глазами, а ногами, по памяти.

Четвёртый этаж встретил длинным коридором, где стены делились пополам горизонтальной полосой: сверху белая краска, снизу синяя, и граница между ними шла неровно, местами съезжая вниз, местами вверх, будто маляр красил с похмелья или просто не видел смысла стараться. Двери выстроились вдоль коридора разноцветным рядом, кто-то когда-то решил, что так будет веселее, зелёная, жёлтая, облупленная красная, за которой жила старуха с тремя котами, и запах оттуда подтверждал это каждый раз, когда я проходил мимо. Моя дверь была последней, в самом углу, где коридор делал поворот и упирался в окно с мутным от грязи стеклом. Семьдесят восьмая. Угол, про который забывали все, включая, кажется, саму домовую администрацию, и меня это устраивало.

Я снял обувь в прихожей, носки прилипли к холодному линолеуму, и первым делом пошёл на кухню, потому что горло пересохло ещё в такси от ДМГ. Открыл холодильник, достал бутылку газировки с цитрусовым вкусом, отвинтил крышку и выпил половину прямо так, стоя, запрокинув голову. Пузырьки обожгли нёбо, и на секунду я забыл про всё остальное, про Франта, про Генри, про десять лет молчания, которое теперь лежало между нами как счёт, который кто-то наконец решил предъявить.

В комнате было то же самое, что и всегда: кровать у стены, шкаф с перекошенной дверцей, стол, на котором я никогда толком не работал, и окно, за которым маячила реклама соседнего дома, разгоняющая вечерний туман цветными пятнами. Я стянул с себя тёмно-синий костюм-тройку, в котором ходил на собеседование, повесил пиджак на спинку стула, зная, что завтра придётся гладить заново, и полез в шкаф за чем-то попроще.

Розовая рубашка показалась мне подходящей, сам не знаю почему, может потому что розовый цвет был последним, что напоминало о чём-то несерьёзном в этот день, который и так вышел тяжелее, чем я рассчитывал. Надел тёмно-синие штаны, застегнул рубашку до предпоследней пуговицы, посмотрел на себя в треснутое зеркало на дверце шкафа и подумал, что выгляжу как человек, который идёт на похороны, только перепутал гардероб.

ГП лежал на тумбочке, я взял его, провёл пальцем по сенсору, дождался короткой вибрации синхронизации и закрепил устройство на рукаве рубашки, чуть выше запястья, там, где крепление держалось крепче всего. Экран мигнул зелёным, подтверждая соединение, и я поймал себя на мысли, что за весь день ни разу толком не посмотрел уведомления, кроме того самого, от ДМГ, про пятницу.

Настало время откровений, подумал я, и фраза показалась мне слишком пафосной даже для внутреннего монолога, но ничего другого в голову не пришло.

Я вышел из комнаты, обулся в прихожей, и тут меня снова догнала та же мысль, что преследовала весь день, с самого утра, когда я проснулся на улице Вождя и пошёл на работу мимо вывески с этим названием, выцветшей, облупленной, на которой когда-то, наверное,

было что-то более торжественное, а теперь остались только буквы «ВОЖД» и ржавое пятно вместо последней. Улица Вождя. Я жил здесь двадцать пять лет, каждый день проходил мимо этой таблички, и ни разу, ни единого раза не задумался, что имя, которое я видел каждое утро, принадлежит человеку, который вел борьбу с моими родителями. Кто-то там, наверху, в администрации Сент-Гента, видимо, обладал редким чувством юмора, или это было не чувство юмора вовсе, а что-то более расчётливое, вроде напоминания, повешенного прямо над головами тех, кому положено помнить своё место.

Я завязывал шнурки на кроссовках, единственной вещи в моём гардеробе, которая хоть как-то соответствовала эпохе, в сетку, с искусственной вентиляцией, подошва слегка пружинила под пальцами, когда я нажимал на неё, система балансировки откликалась тихим гудением.

Я вышел из квартиры, запер дверь, дважды провернул ключ, по привычке, хотя красть у меня было особо нечего, и пошёл обратно тем же длинным коридором, мимо зелёной двери, мимо жёлтой, мимо той, за которой пахло кошками, вниз по лестнице, пешком, потому что лифт всё ещё не работал.

На улице туман уже начал густеть, неоновые вывески окрестных ларьков красили его в те же знакомые оттенки, фиолетовый переходящий в жёлтый, будто весь Сент-Гент каждый вечер устраивал одно и то же цветковое представление для никого. Я активировал ГП, открыл приложение вызова такси, вбил адрес, Старый Сент, тридцать семь, и экран показал семь минут ожидания. Закурил, пока ждал, облокотившись на перила у подъезда, и смотрел, как дым смешивается с туманом и становится неотличим от него уже на расстоянии вытянутой руки.

Такси подъехало без опоздания, старая модель «М», фары чуть подслеповатые, салон внутри пах искусственной кожей, на этот раз без чужого одеколона, хотя бы в этом повезло. Я сел на заднее сиденье, машина без лишних вопросов тронулась, следуя маршруту, который я задал заранее, и на банере перед креслом водителя, которого не было, высветилась траектория, зелёная линия на серой карте, тянущаяся через полгорода.

Я откинулся на спинку, достал из кармана бутылку с остатками газировки, допил её и поставил в подстаканник. За окном проплывали те же пятиэтажки, те же модульные пристройки на крышах, те же бельевые верёвки, что я видел каждый день, только сейчас, впервые за двадцать пять лет, я смотрел на них иначе, будто за каждым окном могла скрываться история, похожая на мою, только у меня эта история имела имена, фамилию, дату, город, который сгорел дотла.

Я не знал, что скажет мне Франт, не знал, выдержу ли услышанное, но где-то под рёбрами теплилось что-то похожее на облегчение, нелепое в своей неуместности. Через полчаса, может меньше, я наконец перестану быть человеком, которому все вокруг знают больше, чем он сам о себе.

* * *

Такси высадило меня на углу, где фонарь не горел уже, видимо, не один год, а на соседнем, работающем через два дома, сидела стая ворон, равнодушных к моему прибытию. Старый Сент выглядел так, будто город начал его сносить, передумал на середине и ушёл заниматься чем-то более прибыльным. Пятиэтажки стояли вплотную друг к другу, фасады в разводах от протечек, а сверху, на крышах, кто-то в своё время налепил модульные надстройки, три этажа

пластика и стекловолокна разных оттенков, бирюзовый соседствовал с грязно-жёлтым, и всё это держалось на старых колоннах, которые явно рассчитывались на нагрузку поменьше.

Я достал сигарету, щёлкнул зажигалкой, прикурил, глядя на дом номер тридцать семь. Входная дверь когда-то была крашена в зелёный, теперь облезла до ржавого металла, вся в чёрных пятнах от содранных листовок и выцарапанных поверх слов, которые я читать не стал. Докурив примерно до половины, я затушил сигарету о стену и шагнул внутрь.

Запах ударил сразу, канализация, сырость, что-то кислое, что живёт в таких подъездах десятилетиями и не выветривается никаким проветриванием. Лестничная клетка помнила, казалось, ещё старую единую страну, перила отшлифованы тысячами рук до блеска в тех местах, где за них держались, стены в потёках, лампочка на площадке второго этажа моргала через раз, как будто сомневалась, стоит ли вообще гореть для таких гостей. Я поднялся на третий, нашёл дверь с номером тридцать два, такую же обшарпанную, как всё здесь, и остановился перед ней на секунду дольше, чем следовало.

Тяжело вздохнув, я позвонил в звонок. Где-то внутри квартиры что-то пискнуло, слабо, как будто механизм давно просил замены батарейки.

— Кто там? Я никого не жду, — донёсся из-за двери хриплый голос, и дальше тишина.

Я подождал, дверь не открывали. Позвонил снова.

— Я сказал, никого не жду. Уходите.

— Мистер Франт, — выпалил я в косяк, чуть громче, чем собирался, — вас беспокоит Карл Вайт.

За дверью стало совсем тихо, такая тишина, когда человек по ту сторону замирает и что-то обдумывает, и я успел представить, как он сейчас смотрит в глазок или просто стоит, не зная, стоит ли вообще реагировать на это имя. Через минуту щёлкнул замок, потом второй, и дверь приоткрылась.

Передо мной стоял пожилой человек, невысокий, сантиметров сто семьдесят, не больше, лысый, в очках с тонкой оправой, усы подстрижены аккуратно, почти педантично, что странно смотрелось рядом со всем остальным обликом. Худой, сутулый, в вязаной кофте, поверх которой была надета жилетка болотного цвета, давно не стиранная, судя по пятнам на груди. Он смотрел на меня снизу вверх с таким выражением, будто взвешивал, стоит ли вообще продолжать разговор, или проще закрыть дверь и сделать вид, что никто не приходил.

Я замешкался на секунду, потом всё же протянул руку.

— Хм. Ну здравствуй, — сказал он, пожимая её, рука была сухая и холодная, пожатие короче, чем полагается.

Франт развернулся, не дожидаясь ответа, и махнул рукой, приглашая внутрь. Я шагнул через порог, закрыл за собой дверь, и в квартире стало ещё темнее, чем на лестнице, свет здесь сэкономили, судя по единственной тусклой лампочке в прихожей.

— Поздновато ты, Карл, решил зайти ко мне, — бросил он, не оборачиваясь.

Я посмотрел на часы на ГП, едва перевалило за шесть вечера.

— Мистер Франт, но ещё всего шесть.

— Да я не об этом, — он махнул рукой куда-то в сторону кухни, — проходи, садись. Я сейчас подойду.

Он скрылся в комнате, а я пошёл по коридору на кухню один, стараясь не задеть ничего по пути, стены здесь тоже были выкрашены в два цвета, белый сверху, синий снизу, как у меня дома, как, видимо, красили всюду в эту эпоху казённой экономии. На кухне было хуже, чем я ожидал. Круглый белый стол, покрытый сетью трещин и потемневший у краёв, два чёрных стула с протёртой до основы обивкой, жёлтая раковина, которая, кажется, рождалась белой, но давно сдалась времени. Чёрная плита, нарочно тёмная, видимо, чтобы жир на ней не так бросался в глаза. Холодильник в углу гудел с таким напряжением, что казалось, вот-вот сорвётся с места. И только на подоконнике, в пыльном стекле, стоял одинокий гиацинт, лиловый, свежий, нелепо живой среди всего этого разложения.

Я сел осторожно, стараясь не касаться столешницы локтями, и ждал. Прошло минуты две, может, три, тишина в квартире стояла такая плотная, что я начал слышать собственное дыхание и представлять самые нелепые вещи, вплоть до того, что Франт сейчас выйдет с чем-то в руках, чего лучше бы не видеть. Но когда он наконец появился, в руках у него была только бутылка виски и два стакана, толстого мутного стекла, какие продают в любой палатке Сент-Гента.

Он сел напротив, поставил бутылку и стаканы на стол, один подвинул мне.

— Я же говорю, поздно, — повторил он, откручивая крышку. — Ты должен был прийти ко мне пораньше. Лет так на десять.

— Почему? — спросил я. — Я даже не знал о вашем существовании до сегодняшнего дня.

— А кто тебе обо мне сказал?

— Мой друг. Генри Эванс.

Франт хмыкнул, разливая виски по стаканам, не скупясь, почти до краёв.

— А... Генри. Удивлён, что он не направил тебя ко мне раньше.

— А почему вы сами меня не нашли?

— Видишь ли, Карл, — он поставил бутылку на стол с глухим стуком, — таким людям, как я, нельзя просто так появляться на улицах.

— Почему же?

— Сейчас узнаешь, — он подвинул стакан ближе ко мне. — Ну, за длинную историю, Карл.

Я поднял стакан, отпил немного, виски обожгло горло сильнее, чем я привык, и поставил на стол. Франт сделал то же самое, тоже немного, аккуратно, как человек, который давно научился не торопиться с выпивкой, даже когда очень хочется.

— Постарайся не спешить с вопросами, — сказал он, глядя на меня поверх очков. — Ты услышишь ответы. Я прошу тебя не перебивать, Карл, чтобы я не сбился с мысли.

— Да, конечно.

— Хорошо, — он откинулся на спинку стула, и та протестующе скрипнула под его тощим телом. — Итак.

* * *

— Раньше у нас была одна страна, — начал он, и голос его сел на какую-то другую, более ровную ноту, будто он читал это уже не первый раз в жизни, может, себе же, в пустой квартире, просто чтобы не забыть порядок слов. — Единая. Все жили в мире, насколько это слово вообще что-то значит, и от этого случился прорыв, наука рванула вперёд так, что сейчас мы только доедаем крошки с того стола. А потом началась борьба за власть. Обычная история, Карл, ничего нового под солнцем.

Он снова наполнил свой стакан, меня не спросил, налил ли мне, я и не просил, виски в моём ещё оставалось на треть.

— Крупные мегаполисы отделились, захотели думать только о себе. Их было семь. Шесть на континенте, один на острове. На острове Меран, слышал про такой?

— Только название.

— Меран изолировали сразу, наглухо, что там сейчас происходит — одному богу известно, если туда вообще кто-то может попасть. А раньше это был центр культуры, искусства, всей той мишуры, которую сейчас запрещают директивами. Ирония, да?

Я промолчал, помня о просьбе не перебивать, хотя вопросов скопилось уже штук десять, и каждый толкался локтями за право быть заданным первым.

— На континенте осталось шесть. Пять из них легли пятиугольником по краям, а один — в центре. Варм.

Он произнёс это имя так, как произносят имя человека, которого давно похоронили, но всё ещё приходят на могилу чаще, чем следовало бы.

— Варм был сердцем всего континента, Карл. Индустриальным сердцем. Представь мегаполис, где в самом центре стоит железнорудный комбинат размером с район, а вокруг него жилые кварталы расползаются, как сыпь. И таких комбинатов было не один и не два. Варм ковал металл, который расходился по всем пяти соседям, без него они бы встали, все до единого. Это важно запомнить, пригодится позже.

Я кивнул, хотя он на меня и не смотрел, глаза его блуждали где-то в районе моего плеча, как будто там висел экран с титрами.

— Шесть городов основали союз, изолировали Меран и принялись закручивать гайки у себя дома. Директивы одна за другой. Запрет на это, цензура на то. Ты вот песни слушаешь?

— Слушаю, — сказал я осторожно.

— Замечал, что в них слов почти нет? Одна музыка, да и та куцая какая-то?

Я замечал, если честно, но никогда не задумывался почему, просто принимал это как данность, как плохой сигнал ГП на окраине или как смог над Сент-Гентом, вещь из разряда «так было всегда, значит, так и будет».

— А недавно вот вышла директива четыреста пятьдесят три, про запрет книг, не прошедших аттестацию министерства, — продолжил Франт, и в его голосе впервые за весь рассказ прорезалось что-то похожее на злость, сухую, старую, выдохшуюся годами, но ещё тлеющую. — Может, слышал?

— Что-то краем уха.

— Вот в такое время появляются на сцене твои родители.

Он произнёс эту фразу буднично, будто объявлял следующий номер программы, но у меня внутри что-то дёрнулось, стакан в руке потяжелел.

— Выросли они в самом сердце Варма, в этом железном аду. Твой отец, Джонатан Вайт, — бывший военный, потом осел на местной фабрике, руководителем среднего звена. Человек, который если ставил цель, то шёл до конца, не оглядываясь ни на что. А твоя мать, Элизабет, в девичестве Шенг, работала в политике, продвигала идеи равенства, говорила, что Варм заслуживает расширения не меньше остальных пяти, что нечего ему всю жизнь быть чужим станком.

— А как они познакомились?

— Карл, — он поднял палец, не укоризненно, скорее устало, как учитель, которому надоело повторять одно и то же, — я же просил.

— Простите.

— На митинге, — сказал он, будто делая мне одолжение, будто решил простить вопрос, раз уж тот сорвался. — Две тысячи девятьсот девяносто первый год, митинг за повышение заработной платы. Организовал его я.

Он произнёс это с какой-то странной смесью гордости и сожаления, будто сам до сих пор не решил, чем считать тот день — лучшим поступком своей жизни или худшим.

— Всё было безобидно, Карл. Вышли люди, покричали, разошлись по домам. Такое по всему континенту случалось каждую неделю, никого не удивишь. Но после я пошёл в бар,

местный, грязный, каких в Варме пруд пруди, и там случайно — а может, и не случайно, кто знает, может, они меня давно присматривали — оказались твои отец и мать.

Он замолчал, отпил, вытер усы тыльной стороной ладони.

— Мы разговорились под выпивкой. Они оба были полны решимости поднять восстание. Вооружённое, Карл, не какую-нибудь там петицию в министерство. Я пытался их урезонить, говорил, что без поддержки других мегаполисов им не выстоять и недели. Но ими двигало не это, понимаешь? Не расчёт. Желание жить достойно, пусть даже с кровью на руках, если придётся.

— И как это стало фракцией?

— Твоя мать была мозгом, — ответил он, пропустив вопрос про «как» мимо ушей, но по сути всё же ответив, — а отец — руками. Так появились «рабочие Варма». И знаешь что самое страшное, Карл? Всё прошло без единого выстрела.

Я поднял взгляд от стакана, не понимая, как слово «страшное» вяжется с отсутствием крови, но спросить не успел, да и не хотел снова нарываться на палец, поднятый в укор.

— Рабочие объявили бойкот предприятиям. Ни одна поставка не ушла из Варма ни в один из пяти соседей. Городу стало нечем дышать, премьер подал в отставку, деваться было некуда, и твоя мать стала новым премьером. А отец в это время уже всю обучал ополчение, собирал людей по цехам, из тех же станочников лепил что-то похожее на армию, потому что понимал — рано или поздно кто-то из пятерых придёт забирать назад то, что потерял.

Он отставил стакан и посмотрел на меня впервые за весь рассказ прямо, без этого блуждающего взгляда поверх моего плеча, и в его глазах, усталых, выцветших за линзами очков, было что-то похожее на жалость, только непонятно к кому — ко мне или к себе.

— Вот так, Карл. Город захватили без единого выстрела. А вот удержать его бескровно уже не вышло.

Я сидел, вертя стакан в руке, и пытался уложить в голове, что люди, которых я никогда не видел даже на фотографии, которых знал только по реакции чужих лиц на свою фамилию, в один вечер, в грязном баре где-то в Варме, решили перевернуть целый мегаполис, и у них получилось. Гиацинт на подоконнике качнулся, видно, сквозняк из форточки, и я зачем-то подумал, что эта фиолетовая нелепость, единственная живая вещь в этой квартире, старше, наверное, всей истории, которую мне только что рассказали, хотя это, конечно, было не так.

— А дальше? — спросил я, не удержавшись, и тут же пожалел, напоровшись на его взгляд.

— Дальше, Карл, — сказал Франт, подливая себе ещё, — всему своё время.

* * *

Франт отпил ещё, уже не до краёв, а так, чисто смочить губы, и уставился куда-то в сторону умывальника, пожелтевшего что внутри, что снаружи.

— Три года, Карл. Три года твоя мать вела эту политику, и я тебе скажу, умнее дела я в жизни не видел. Одним мегаполисам продаёт, с другими торговлю рубит на корню, эмбарго, представляешь. А те, кому отказали, начинают грызться с теми, кому продали. Все четверо на ножах друг с другом, всем нужен Варм, и никто не додумался, что надо не грызться, а объединяться.

— А потом додумались.

— Потом додумались, — Франт кивнул, будто сам удивлялся этому до сих пор. — Декабрь девяносто четвёртого. Гент, союзник наш, значит, начинает покупать у Варма товар и продавать его втридорога остальным четырём. Сам понимаешь, как это восприняли. Гральд, Фроншир, Ленворт, Дербенте — все разом поняли, что их дураят, и нашёлся человек, который этим воспользовался. Вождь. Не сразу он Вождём стал, Карл, сначала просто собрал четверых за один стол и сказал: хватит друг друга щипать, есть общий враг. И две армии пошли, одна на Гент, другая на Варм.

Он снял очки, протёр их краем жилетки, которая от этого чище не стала, и снова надел.

— Твой отец вышел против объединённой армии Гральда и Фроншира. Гент держал оборону от Ленворта и Дербенте, но Гент не твой отец, Карл. В девяносто шестом Гент пал, сложили оружие, и всё, нет союзника. А твой отец — слушай сюда — твой отец умудрился обратить противника в бегство и развернулся уже в сторону Гента, добивать тех, кто город взял.

Я молчал, пытаюсь представить человека, способного развернуть армию после победы, как будто победа это не конец, а просто поворот дороги, и не мог. У меня в голове не было лица, только фамилия, которая всю жизнь шла впереди меня, как чья-то тень.

— Девяносто седьмой, — продолжил Франт, — фронт встал. Два года, Карл, два года стояли друг напротив друга и никто не мог сдвинуть. У нас кончалась еда, у них — оружие. Мы думали, что это надолго, может, навсегда. Я тогда уже и не думал, что доживу до конца этой истории, если честно, думал, помру на пайке где-нибудь в Варме стариком.

Он замолчал, и в этой паузе было что-то такое, отчего я не решился спросить дальше, хотя вопрос уже крутился на языке.

— В девяносто девятом твоя мать забеременела тобой.

Сказал это он так буднично, будто речь шла не обо мне, а о каком-то факте из учебника, который давно стал историей, и мне стало не по себе от того, с какой лёгкостью моё собственное зачатие укладывалось у него между двумя военными датами.

— Я был на совете в тот день. Твоя мать встала и сказала: хватит, предлагаю мир, Вождь пойдёт на переговоры, у него тоже людей не осталось. А твой отец молчал, Карл, он не спорил с ней на людях никогда, но по лицу было видно, он хотел не мира. Он хотел добить, раз уж начали. И совет, представляешь, совет его послушал, не её.

— Почему?

— Потому что люди устали бояться, Карл, а твой отец обещал, что бояться больше не придётся, если дожать. Голосовали, и большинством решили наступать. А через неделю, — Франт вдруг остановился, и лицо его, и без того нездорового пергаментного цвета, стало ещё бледнее, — через неделю оказалось, что кто-то из совета, кто-то, кто сидел с нами за одним столом, передал план наступления на ту сторону.

Он взял стакан и залпом, не разбирая вкуса, допил то, что в нём оставалось, так резко, что я вздрогнул от стука дна о стол.

— Предательство, Карл. Понимаешь, что это такое? Не чужой враг тебя убил, а свой же, с которым ты пайку делил.

— Не совсем понимаю, — сказал я тихо, — кто это был?

— Этого я не знаю, — он потёр переносицу под очками, — может, и никогда не узнаю. Знаю только, что армию отца разбили, разбили в хлам, тяжёлые потери с обеих сторон, но против пяти, Карл, против пяти даже твой отец не мог выстоять. Меня пленили прямо там, на поле, даже осознать толком не успел.

Гиацинт на подоконнике снова качнулся от сквозняка, и мне на секунду показалось, что это неуместно, этот цветок, на фоне того, что он рассказывал, но тут же подумал, что, может, именно поэтому Франт его и держит, назло всему вокруг.

— Полгода спустя Варм сожгли, — сказал он уже совсем глухо, глядя мимо меня. — Люди не сдавали город до последнего, верили, что отец вернётся, что подмога придёт. Вождь не стал ждать. Спалил всё, что было, Карл, весь мегаполис, дотла. Я тогда уже сидел, узнал обо всём из разговоров охраны.

— А отец?

— Ходят слухи, что выжил. Что в той битве, когда всё горело, он как-то выбрался и укрылся прямо в городе, среди руин. Врать не буду, доказательств у меня нет, только слухи, а слухи в наше время штука такая, можно верить, можно нет.

Я сидел, сжимая пустой уже стакан, и чувствовал, как внутри что-то звенит, тихо, на одной ноте, будто где-то рядом работает старый холодильник, только звук этот был не в кухне, а у меня в голове.

— А мать? Если город сожгли, если отец, может, и выжил, то где мать? Как я оказался здесь, в Сент-Генте?

Франт посмотрел на меня долго, снял очки снова, уже без всякой нужды их протирать, просто чтобы поддержать паузу.

— У твоей матери, Карл, были большие связи, даже когда город горел. Я не знаю, где она рожала тебя, не знаю, кто ей помогал, но знаю точно одно: тебя, новорождённого, отдали в приют в Сент-Гент. Об этом мне рассказали уже в три тысячи третьем, когда меня выпустили и поселили здесь же, под присмотром, подальше от любых глаз.

— А она сама? Жива?

— Может, жива, — сказал он после паузы, — информация о ней где-то осела, в системе, в архивах, я слышал такое краем уха, только не спрашивай где именно, не знаю. Может, скрывается, может, сидит, как все, кто был по ту сторону.

Он снова надел очки и посмотрел на меня так, будто только что осознал, перед кем сидит, не абстрактным сыном абстрактных людей, а живым человеком с лицом, которое, может, похоже на одного из них, и мне на мгновение стало страшно от этого взгляда больше, чем от всей истории.

* * *

Я сидел и смотрел, как виски в стакане чуть покачивается от моей же дрожи в руке, будто там, в этой жёлтой жидкости, отражалась вся муть, что у меня в голове творилась. Франт молчал, ждал, видно, пока я сам что-то скажу, он вообще, как я заметил, умел молчать так, что молчание это давило сильнее любого вопроса.

— Знаете, мистер Франт, — я поднял на него глаза, — я ведь не просил всего этого. Я сирота из Сент-Гента, у меня работа, квартира на отшибе, где меня все забыли. Я не хочу быть сыном, который должен что-то там продолжить. Я просто хочу жить. Нормально. Встать, пойти на работу, вернуться, лечь спать, и чтобы никто у подъезда не стоял и не следил, не узнавал, не спрашивал фамилию с таким лицом, будто у меня на лбу что-то написано.

Сказал и сам удивился, как складно вышло, как будто готовил эту речь заранее, хотя готовил я её, наверное, всю жизнь, просто некому было сказать.

— Хочу состариться где-нибудь тихо, в своей кровати, а не в какой-нибудь канаве с биркой на ноге, как мои родители, судя по всему, закончат или уже закончили.

Франт слушал, не перебивая, как и просил, и усы его чуть дёргались, будто он что-то жевал внутри себя, пережёвывал мои слова и свои собственные мысли одновременно. Потом он встал, стул под ним скрипнул так, что я поморщился, и подошёл ко мне со стороны, положил руку на плечо. Рука у него была лёгкая, почти невесомая, но холодная, несмотря на кофту с рукавами, и я почувствовал этот холод даже сквозь рубашку.

— Тебя никто спрашивать об этом не будет, Карл, — сказал он тихо, прямо над ухом, — тебе придётся.

— Как это придётся? — я дёрнул плечом, не со зла, скорее от неожиданности, от того, как спокойно это прозвучало, без надрыва, без драмы, просто факт, как прогноз погоды, дождь завтра, придётся взять зонт.

— А вот так, — он убрал руку, вернулся на своё место, сел тяжело, будто стоять ему было труднее, чем казалось со стороны. — Мир так устроен, Карл, не я его придумал. Ты можешь хотеть всё что угодно, хоть спрятаться под кровать и не вылезать до старости, только мир тебя найдёт, фамилия тебя найдёт, люди, которым нужна твоя фамилия, тебя найдут. Я вот тоже когда-то хотел по-тихому дожить, наладить электрику где-нибудь, чинить холодильники, может, тебе бы его как раз починил, — он кивнул в сторону агрегата, который снова издал тот свой утробный звук, — а вместо этого сорок лет моей жизни ушли на то, чтобы однажды в такую же кухню, как эта, пришёл сын Джонатана Вайта и спросил меня, почему так вышло.

Я молчал, потому что сказать мне было нечего, да и не хотелось больше спорить, спорить с человеком, который всё это прожил, было как спорить с самой историей, глупо и бесполезно.

Я взял стакан и допил остатки виски залпом, горло обожгло, и следом сразу какая-то мутная тяжесть разлилась по голове, то ли от алкоголя на голодный желудок, то ли от всего услышанного за последний час, а может, и то и другое вместе, не разберёшь уже. Комната чуть качнулась, гиацинт на подоконнике будто бы стал ярче, зеленее, хотя откуда там взяться яркости в таком свете. Я поставил стакан на стол аккуратно, стараясь не звякнуть, будто боялся разбудить что-то, что лучше не будить.

— Ну что ж, — сказал Франт, тоже отставляя свой стакан, пустой уже давно, — засиделся ты у меня, Карл. Иди домой, перевари всё это, информации много, сразу всю не проглотить, это тебе не виски.

Он встал первым, и я следом, ноги чуть не держали, не то чтобы я был пьян по-настоящему, скорее вымотан, выжат, как тряпка после мытья этой самой кухни, которую, судя по виду, не мыли вообще никогда.

Мы вышли из кухни в коридор, узкий, тёмный, с одной лампочкой на потолке, которая мигала через раз, будто сама не решила, светить ей или нет. У двери Франт остановился, развернулся ко мне, и в этом тусклом свете его лицо вдруг показалось мне совсем другим, не хриплым стариком, который только что отчитал мне тридцать лет истории, а человеком, который прощается не на вечер, а насовсем, хотя я тогда ещё не мог сформулировать это ощущение словами, просто почувствовал холодок где-то под рёбрами.

— Карл, рад был познакомиться, — сказал он и протянул руку.

— Я тоже рад знакомству, мистер Франт, — ответил я, пожимая эту сухую, лёгкую ладонь, — и удачи вам.

— О нет, — он усмехнулся, но усмешка эта вышла какая-то вымученная, без радости внутри, — удача мне ни к чему, мне уже немного осталось.

— Ну что вы, мистер Франт, — я попытался улыбнуться, хотя получилось, наверное, криво, — вы не такой уж и старый.

— Ага, — глухо ответил он, и в этом коротком слове было столько всего, усталости, смирения, какой-то давно принятой обречённости, что я не нашёлся, что сказать ещё, да и говорить, видно, было уже не о чем.

Он открыл дверь, и в квартиру ворвался тот же запах канализации с лестничной клетки, смешанный с сыростью старых стен, и я шагнул через порог, обернулся ещё раз, чтобы кивнуть на прощание, но Франт уже отворачивался, закрывая дверь медленно, будто каждое движение давалось ему с трудом, и последнее, что я увидел, это его силуэт в полосе тусклого света из коридора, сутулый, маленький, растворяющийся в темноте квартиры, как будто он сам был частью этой разрухи, а не просто её временный жилец.

* * *

Дверь за спиной щёлкнула, и этот звук показался мне громче, чем должен был быть, будто кто-то специально усилил его, чтобы напомнить: ты вышел, обратного пути нет. Коридор на третьем этаже встретил меня той же мигающей лампочкой, что и в квартире Франта, только здесь она не мигала через раз, а просто не работала, и свет шёл откуда-то снизу, с лестничной клетки, тусклый, желтоватый, будто кто-то забыл выключить фонарь ещё в прошлом веке.

Я сделал три шага к лестнице, нащупывая в кармане пачку сигарет, и остановился.

На площадке между этажами стояли двое. Я не сразу их заметил, настолько они сливались с темнотой лестничного пролёта, одинаковые тяжёлые пальто с зелёным лацканом, шляпы с козырьком, надвинутые так, что лиц было почти не разглядеть, только подбородки и линия рта, сжатого в что-то среднее между молчанием и ожиданием. Они не двигались. Просто стояли, один чуть выше другого на ступеньку, и смотрели, как мне показалось, прямо на дверь квартиры тридцать два, из которой я только что вышел.

Сердце у меня ёкнуло, но я сказал себе, что это, может, соседи, может, какие-нибудь коммунальщики в старомодной форме, мало ли что носят в этом районе люди, которые давно не выходили за пределы Старого Сента. Я заставил себя идти вперёд, не ускоряя шаг, хотя каждая клетка тела требовала обратного, развернуться и бежать обратно в квартиру Франта, забарабанить в дверь, крикнуть что-то вроде «откройте, тут странно». Но я прошёл мимо них по узкой лестнице, прижимаясь плечом к перилам, и они не сдвинулись ни на сантиметр, пропуская меня мимо, будто меня там и не было, будто я был не человеком, а сквозняком.

Спускаясь, я чувствовал их взгляды на спине, хотя, может, это было только воображение, подогретое виски и рассказом Франта про предательство, про совет, про разбитую армию. Голова после выпитого была мутной, и в этой мутности каждая деталь казалась значительнее, чем могла быть на самом деле. Я пытался дышать ровно, считать ступеньки, как делал в детстве, когда боялся темноты в коридоре приюта, но счёт сбивался на третьем пролёте.

У самого выхода из подъезда, там, где железная дверь с въевшимся клеем от старых листовок приоткрывалась на улицу, стоял третий. В таком же пальто, в такой же шляпе, прислонившись плечом к косяку, будто ждал кого-то, или, точнее, будто знал, что сейчас кто-то выйдет. Я замедлил шаг, но остановиться было уже поздно, он смотрел прямо на меня, и я видел только нижнюю часть лица, узкий подбородок, тонкие губы, ничего примечательного, ничего, что можно было бы потом описать в деталях, если бы меня кто-то спросил.

— Добрый вечер, — произнёс он. Голос был ровный, без интонации, без угрозы и без дружелюбия, просто слова, брошенные в воздух, как монета в автомат.

— Добрый, — ответил я, не сбавляя шаг, чувствуя, как это слово застряло где-то в горле, прежде чем выйти наружу.

Я протиснулся мимо него в приоткрытую дверь, и улица встретила меня холодным воздухом, смешанным с запахом выхлопов и того же смога, что висел над всем Сент-Гентом с самого утра. Я не обернулся. Шёл быстро, почти бежал, срезая через дворик с ржавыми качелями без сидений, пока не оказался на углу, где фонарь хотя бы работал исправно.

Там я остановился, достал ГП с рукава и, пальцы чуть дрожали, набрал номер Генри.

Гудки тянулись дольше, чем мне хотелось бы, каждый казался отдельной минутой, и я уже начал прикидывать, что скажу, если он не ответит, кому ещё звонить, в полицию? В ДМГ? Самому Франту обратно постучаться? Но на пятом гудке линия ожила.

— Генри на связи, — сказал он тем своим обычным тоном, будто и не слышал, что я звоню в такое время.

— Это Карл, — выдохнул я, оглядываясь через плечо на подъезд, из которого вышел, — надо встретиться. Срочно.

Пауза на той стороне длилась секунду, может, две, но в ней было что-то, какая-то перемена, будто Генри что-то взвешивал.

— Приезжай в «Чёрный ворон», Н-15. Я сейчас там, — сказал он наконец, без обычных своих шуточек, без того покровительственного тона, каким обычно разговаривал со мной.

— Хорошо, на связи, — ответил я и отключился, не дожидаясь, пока он добавит что-нибудь ещё.

Я вызвал такси через ГП, набрав адрес дрожащими пальцами, и машина ответила зелёной точкой на экране, восемь минут до прибытия. Восемь минут показались вечностью. Я закурил, не особо соображая зачем, просто руки требовали чем-то заняться, и, затягиваясь, смотрел вдоль улицы на тусклые окна старых пятиэтажек с их нелепыми модульными надстройками наверху, будто кто-то приклеил будущее поверх прошлого, не спросив разрешения ни у того, ни у другого.

Такси подъехало тихо, как и положено автопилоту, без скрипа тормозов, без звука двигателя, просто остановилось у края тротуара и мигнуло фарами. Я сел на заднее сиденье, салон встретил меня тем же запахом искусственной кожи, что и по пути сюда, будто весь парк этих машин был из одной партии, одного завода, одной безликой жизни. Экран на передней панели высветил маршрут, Н-15, расчётное время в пути, и машина тронулась.

И в тот момент, когда такси набирало скорость, отъезжая от бордюра, раздался хлопок.

Резкий, короткий, будто кто-то с силой ударил доской по металлу, или будто лопнула натянутая струна где-то в воздухе, совсем рядом, может, на соседней улице, может, прямо у подъезда, из которого я только что вышел. Звук ударил по ушам так, что я дёрнулся на сиденье, вжался в спинку, сердце заколотилось так, что я почувствовал его где-то в горле.

Это мог быть выхлоп старой машины, редкий здесь гость среди автопилотов. Мог быть треск вывески, оборвавшийся провод, да мало ли что могло хлопнуть в районе, где всё держалось на честном слове и древней проводке. Но что-то внутри, та часть меня, что весь вечер слушала про войну, про предательство, про сожжённый дотла город, подсказывала иначе, и этому голосу я не хотел верить, потому что верить ему означало признать, что я только что оставил Франта одного в квартире, где его искали.

Я обернулся, глядя в заднее стекло, как улица уходила назад, растворяясь в вечерней дымке фонарей.

У подъезда, из которого я вышел минуту назад, стоял тот же человек в пальто с зелёным лацканом. Он курил, неспешно, спокойно, будто ничего не произошло, будто хлопок был частью обычного вечера, и провожал взглядом моё такси, пока оно не свернуло за угол и дом не скрылся из виду.

Глава 3. Чёрный ворон.

Машина шла ровно, без единого толчка, и от этой ровности становилось только хуже, потому что внутри у меня ничего ровного не осталось. Я сидел, вжавшись в спинку, и прокручивал тот звук. Хлопок. Я разбирал его на части, как разбирают на столе сломанный ГП, и каждый раз выходило одно и то же: слишком сухо для выхлопа, слишком коротко для лопнувшей вывески, слишком близко для чего угодно другого. Выхлоп тянется, он кашляет, он дрожит в воздухе ещё пару секунд. А это просто оборвалось. Как будто кто-то поставил точку.

«Удача мне ни к чему, мне уже немного осталось», сказал мне старик час назад, и тогда я принял это за стариковское кокетство, за то, как говорят люди, которые хотят, чтобы их пожалели. Теперь я сидел в такси, пахнущем искусственной кожей, и понимал, что он просто сообщал мне расписание.

За стеклом Сент-Гент переодевался к вечеру. Днём он серый, обшарпанный, с потёками на бетоне и стариками у подъездов, а часам к семи включается подсветка и район начинает притворяться, что он часть большого города. Вывески занимались одна за другой, бирюзовые, малиновые, кислотно-жёлтые, они ложились на мокрый после дневной мороси асфальт и размазывались там в лужи цвета дешёвого ликёра. Народ валил с остановок, с пересадочных узлов, из цехов на северной стороне; у многих уже было в руках: банки, бумажные стаканы, плоские бутылки, которые продают в автоматах на каждом углу, потому что запретить книгу проще, чем запретить спиртное. Смены закончились. Начиналось то, ради чего, по мнению директив, человек и существует. Выдохнуть, потратить, забыть, завтра в семь ноль-ноль обратно.

Я смотрел на них и ловил себя на зависти, такой липкой, стыдной. Ещё вчера утром я был одним из этих, я ехал на собеседование и думал о том, хватит ли мне денег до первой зарплаты и не слишком ли мятый у меня костюм. День. Чуть больше дня понадобилось, чтобы выяснить, что фамилию мне оставили в наследство вместе с долгом, которого я не брал.

Экран на передней панели моргнул, пересчитал маршрут, объявил, что мы прибудем через четыре минуты, и голос у него был доброжелательный, женский, абсолютно равнодушный. Я подумал, что надо бы позвонить Франту. Просто набрать его, услышать это его хриплое «ну», убедиться. И тут же вспомнил, что у него нет ГП, у него вообще ничего нет, кроме гиа-цинта на подоконнике и запаха канализации в подъезде. Человек, который тридцать лет назад поднимал митинги на площадях целого мегаполиса, к старости остался без единого способа дать о себе знать. Очень удобно, если подумать. Для кого-то очень удобно.

Такси свернуло на Н-15 и мягко встало у бордюра.

«Чёрный ворон» я узнал раньше, чем увидел название. Очередь. Метров на тридцать вдоль фасада, под козырьком, люди стояли плотно, курили, смеялись, девушки в блестящем мёрзли и делали вид, что им не холодно. Среда, подумал я. Обычная среда, и у них аншлаг.

Над входом висела вывеска: птица, собранная из чёрных неоновых трубок, из-за чего она не светилась, а, наоборот, выглядела дырой в стене дома. Говорят, тут года три назад застрелили кого-то прямо у гардероба, и говорят, что заведение не закрыли даже на сутки. Генри рассказывал это с удовольствием, как анекдот. Я тогда посмеялся.

Я вышел, расплатился, одёрнул рубашку. Кроссовки с вентиляцией тихо чпокнули о мокрый асфальт.

По обе стороны от двери стояли двое. Не те привычные охранники в жилетках, которые гоняют пьяных от входа в супермаркет; эти были в чёрном, коротко стриженные, с автоматическими пистолетами на бедре, открыто, без всякой попытки спрятать. У одного на плече мигала камера-считыватель. Она скользнула по мне, и я вдруг физически почувствовал, как моя фамилия проходит сквозь чужую систему и ложится куда-то в строчку.

Меня почему-то переполняло. Не страх даже, а какое-то дурацкое приподнятое возбуждение, как перед дракой, которую ты точно проиграешь, но уже не можешь не пойти. Ноги шли сами, и шли быстро, мимо очереди, под недобрые взгляды.

Охранник шагнул вбок, перекрывая проход.

— К кому?

— Меня ждут. Столик.

Он посмотрел на меня секунды две дольше, чем нужно, потом повёл подбородком, и дверь передо мной открылась сама.

Внутри ударило басом, сразу, в живот. Стробоскоп рубил воздух на куски, прожектора, зелёный, красный, снова зелёный, ползали по танцполу, выхватывая руки, плечи, запрокинутые лица. Пахло разлитым алкоголем, разогретым пластиком и чьими-то тяжёлыми духами. Слева тянулась барная стойка, вся облитая бирюзово-фиолетовой неоновой подсветкой, абсолютно чужая этому залу с его тёмными стенами и настольными лампами, будто её привезли из другого заведения и не нашли, куда деть.

Ко мне подплыла хостес, девушка с идеальной улыбкой и планшетом в руках.

— Добрый вечер. Бронировали?

— Нет. Меня ждёт друг. Генри Эванс.

Я ожидал, что она будет искать по списку, переспрашивать, уточнять фамилию по буквам. Она не стала. Улыбка не изменилась ни на миллиметр, но что-то в ней переключилось, как переключается выражение у Флика Херсвога, когда он отворачивается от людей.

— Конечно. Пройдёмте, я вас провожу.

Мы пошли направо, вдоль стены, мимо высоких хромированных табуретов, мимо столиков с приглушёнными лампами, за которыми сидели люди, чьи лица я не разглядел и не хотел разглядывать. В дальнем конце зала шли ниши с диванами, закрытые плотными шторами. У третьей или четвёртой она остановилась и отвела ткань в сторону.

Генри сидел боком, облокотившись на спинку, в джинсовом костюме болотного цвета, с тем самым своим каре, которое он носит с четырнадцати лет, и на запястье у него помаргивал какой-то гаджет, которого я раньше не видел. Он поднял голову и улыбнулся, но улыбка была на полсилы.

Напротив него сидел мужик.

Лет сорока пяти, может больше, лысый, коренастый, с короткой толстой шеей, из тех, кому рубашка всегда мала в плечах. Кожаная куртка на нём была потёртая до белизны на сгибах и явно не первой свежести, вообще ни разу не первой. А на левой стороне лица, от скулы вверх, шла татуировка: меч, входящий остриём в глаз. Сделано было грубо, вручную, синими чернилами, какими быют там, где нет ни салонов, ни анестезии.

Он не встал. Он просто посмотрел на меня снизу вверх и ничего не сказал.

— О, Карл, — Генри подвинулся. — Присаживайся. Это Джон Гиз, мой друг.

Друг. У Генри друзей числилось примерно столько же, сколько джинсовых костюмов.

Я протянул руку. Не знаю, зачем, просто так делают, когда тебя знакомят, тело делает это само, раньше головы. Рука повисла в воздухе чуть дольше, чем приличествует, и за эту секунду я успел подумать, что сейчас он её не пожмёт, и что я буду с этим делать.

— Карл Вайт.

Он пожал. Ладонь была сухая, жёсткая, с мозолями не от инструмента, а от чего-то другого, и он не стал её сжимать, никаких этих мужских игр, просто подержал и отпустил. И всё равно мне захотелось вытереть пальцы о брюки.

— Садись, Карл, — сказал он.

Голос был низкий, с песком, и прозвучал так, будто разрешение сесть выдавал он, а не Генри, и не в баре, а у себя в кабинете. Я сел. Диван был мягкий, глубокий, я провалился в него и сразу оказался ниже их обоих.

Есть люди, рядом с которыми неловко, даже когда они обращаются не к тебе. Вот это было оно. Ощущение, как будто сидишь на пороховой бочке и пытаешься вести светскую беседу: не знаешь, когда рванёт, знаешь только, что рванёт не по твоему расписанию.

Шторка качнулась, и стало чуть тише, музыка отодвинулась за ткань, превратилась в ровный гул под ногами. Я положил руки на колени. Пальцы всё ещё подрагивали после того хлопка, и я спрятал их между коленями, чтобы не было видно.

— Ну как сходил к мистеру Франту? — спросил Генри.

Я открыл рот и не успел.

Шторку отвели в сторону, и в нишу заглянула официантка с планшетом, молоденькая, с блёстками на веках.

— Прошу прощения. Что будете заказывать?

Генри даже головы не повернул.

— Бутылку бурбона и сырную тарелку.

— Хорошо.

Она исчезла, ткань упала обратно. Гиз выудил из кармана куртки мятую пачку, покрутил, убрал. Генри смотрел на меня и ждал, и в его голубых глазах не было ничего от того Генри, который сегодня днём в «Зелёном листе» подкалывал меня насчёт костюма.

— Там был выстрел, — сказал я. — Когда я выходил. У подъезда.

Я сам не узнал свой голос. Он прозвучал слишком ровно для того, что я сказал.

Гиз медленно поднял на меня глаза, тот, в который входил нарисованный меч, и тот, живой.

* * *

Гиз не ответил сразу. Он взял со стола салфетку, сложил её вдвое, потом ещё раз, и только после этого посмотрел на Генри, а не на меня, будто я тут был предметом мебели, о который только что споткнулись.

— Выстрел, — повторил он. — Он говорит «был выстрел». Генри, ты его вообще слушал, когда посылал?

— Джон.

— Нет, подожди. — Салфетка легла на стол ровным квадратиком, и он придавил её пальцем. — Ты сколько времени у старика просидел? Час? Два?

— Около двух, — сказал я.

— Два часа. И вышел с мыслью «кажется, был выстрел». — Он наконец повернул голову ко мне, и меч на его скуле качнулся вместе с мышцей. — Ты нихрена не понимаешь, парень. Вот вообще. Это не упрёк, это диагноз. Пустая трата времени, Генри, я тебе сразу сказал.

Я почувствовал, как у меня вспыхнули уши, и это было отвратительно, потому что я чувствовал себя так же, как в приюте, когда старшие объясняли малышне очевидные вещи голосом, от которого хочется провалиться.

— Как я должен всё понять, если мне двадцать пять лет никто ничего не говорил, — сказал я. — Я сегодня утром не знал, как зовут мою мать. Сегодня утром, Генри. Пол дня назад я ходил на собеседование и думал, что главная проблема моей жизни — это как дотянуть до зарплаты.

— Тише, ребята, — Генри поднял ладонь. — Всё постепенно. Карл, никто тебя ни в чём не обвиняет.

— Он меня только что назвал тратой времени.

— Он так разговаривает со всеми. Со мной тоже.

— С тобой по-другому, — сказал Гиз, не моргнув.

Шторка снова дёрнулась, вошла та же официантка с блёстками, поставила бутылку, три стакана и доску с сыром, и несколько секунд в нише не говорили ничего, пока она расставляла. Я смотрел на её руки и думал, что вот сейчас она уйдёт и разговор поедет дальше, и мне очень не хотелось, чтобы она уходила. Генри свинтил крышку и разлил, по донышку, на два пальца, и толкнул стакан ко мне.

— Карл, — он помолчал, подбирая, и я понял, что он подбирает, и от этого стало совсем нехорошо. — Мистера Франта не трогали столько лет, потому что он оборвал все связи. Полностью. Вообще со всеми. Он жил как мёртвый, и его держали за мёртвого.

— Держали.

— Да.

— Ты говоришь в прошедшем времени.

Генри посмотрел в стакан. Генри, который за десять лет нашего знакомства ни разу не отвёл глаз, ни когда врал про курсовую, ни когда занимал у меня последние деньги и не отдавал, ни сегодня днём в «Зелёном листе», когда сказал мне адрес и пожелал удачи так, будто отправлял на экскурсию.

— Он мёртв, Карл.

Музыка за тканью шла ровным низом, бум-бум-бум, и этот бум почему-то совпал с тем, что у меня творилось в груди, и несколько ударов они шли вместе, а потом разошлись.

— Я был у него два часа назад.

— Знаю.

— Я пил у него. У него на подоконнике цветок стоит, гиацинт, он его сам поливает из банки, у него банка из-под краски вместо лейки. Он мне рассказывал, как они с отцом... — я остановился, потому что голос пошёл вверх, и я его придавил. — Два часа назад.

— Час сорок, если точно, — сказал Гиз. — Нам сообщили раньше, чем ты сюда доехал. Ты, кстати, ехал медленно.

Я поднял стакан и выпил всё, и бурбон прошёл по горлу как наждак, и это было хорошо, потому что хотя бы что-то в этом вечере было понятным и имело простое объяснение.

— Те люди у подъезда, — сказал я. — Пальто одинаковые, серые. Длинные такие, старомодные. И на лацкане зелёное, вроде нашивки. Их было трое, один стоял у двери, двое поднимались. Я ещё подумал, что они похожи на похоронную контору, и посмеялся над собой в такси.

Генри поставил стакан слишком резко, и донышко стукнуло о столешницу.

— Ты их видел.

— Я прошёл мимо них. Один придержал мне дверь.

— Бинго, — сказал Гиз. — Он понял.

Он сказал это без всякого торжества, буднично, как говорят «дождь пошёл», и именно от этой будничности у меня в затылке началось то, чего я боялся весь день. Сначала стало очень тихо, потом в этой тишине завёлся звон, тонкий, высокий, как от старой лампы, и он пошёл расти, и музыка отодвинулась куда-то за него.

— Это были они, — сказал я. Это не было вопросом, но я всё равно ждал, что кто-нибудь скажет «нет».

— Это были они, — подтвердил Гиз.

— И они шли к нему.

— Они шли за ним. Это разные вещи, но тебе пока без разницы. — Он отпил, поморщился, посмотрел на бутылку с претензией, будто она была виновата в качестве вечера. — Теперь слушай сюда, один раз. Старик тринадцать лет сидел тихо. Ни звонка, ни письма, ни одной живой души на пороге. Его вели по учёту как отработанный материал. А сегодня к нему пришёл молодой человек с фамилией Вайт, и просидел два часа, и вышел. Вот и всё, что произошло. Больше ничего в его жизни не менялось тринадцать лет.

— Я не...

— Ты не знал. Знаю. Это написано у тебя на лбу крупно. — Он подался вперёд, и диван под ним скрипнул. — Но для тех, кто считает, это не имеет значения. Они не оценивают намерения, они закрывают список. Старик был в списке, старик закрыт. Он сам этого хотел, кстати.

— Что значит — сам хотел?

— То и значит. Он мог тебя не впустить. Посмотрел в глазок и не впустил, у него дверь железная, с войны ещё. Он тебе открыл. — Гиз пожал плечами. — Человек в шестьдесят восемь, который тринадцать лет молчал, открывает дверь сыну Джонатана Вайта и два часа ему всё выкладывает. Он знал, чем это кончится. Он просто решил, что хватит.

Я вспомнил, как он сказал мне на прощание, что удача ему ни к чему, ему уже немного осталось, и как я подумал тогда, что старики любят так говорить, это у них вроде присказки. Я действительно так подумал. Я даже ответил ему что-то бодрое.

— Следующий ты, — сказал Гиз.

Стакан был пустой, и я зачем-то всё равно поднёс его к губам.

— В смысле — я следующий?

— В прямом. Не в переносном, не в фигуральном. Список идёт сверху вниз. Старик был строчкой. Ты — следующая.

— Джон, — сказал Генри.

— А что «Джон»? Ты ему это собирался на будущей неделе сообщить, под хорошее настроение? У него полтора дня, может, меньше.

Звон в ушах стал плотным, как будто мне заложило под водой, и по краям зрения поплыли тёмные пятна, и я увидел свои руки. Они лежали на коленях и тряслись, ровно, мелко, и я никак не мог это остановить, я их сжал, и тряска ушла в плечи.

— И да, Генри, — добавил Гиз, не поворачиваясь. — Раз уж мы начали говорить вслух. Ты в этой каше уже по уши. Ты ему адрес дал. Не я, не птичка на хвосте. Ты.

Генри ничего не ответил. Он взял бутылку и налил мне ещё, и рука у него была твёрдая, и вот это почему-то добило меня окончательно: у меня тряслись руки, а у него нет, хотя он только что услышал про себя то же самое, что я про себя.

— Карл. — Он придвинул стакан. — Всё будет нормально. Мы тебе поможем.

— За энную сумму, конечно, — сказал Гиз и потянулся вилкой к сырной доске.

Он подцепил кусок с голубыми прожилками, осмотрел его и отправил в рот, и жевал, глядя куда-то мимо меня, на складку шторы, и в этом не было ни злобы, ни издёвки, просто человек ел сыр, за который заплатит Генри, и говорил о моей смерти тем же тоном, каким говорил бы о доставке груза.

Я сидел и думал о банке из-под краски на подоконнике. Кто теперь будет поливать этот гиацинт. Это была самая глупая мысль из возможных, и она была единственной, которая у меня помещалась в голове целиком, остальные не помещались, они не влезали, они расползались, как только я пытался их взять.

— Карл, ты слышишь меня? — спросил Генри.

Я слышал. Я слышал его через вату, и музыку через вату, и как за шторкой кто-то засмеялся громко и счастливо, компания, наверное, человек на шесть, им было хорошо.

— Мне надо отойти, — сказал я.

— Да, конечно, — быстро ответил Генри.

Я встал, и диван отпустил меня неохотно, и я задел коленом стол, стаканы звякнули. Отвёл шторку. Свет снаружи ударил сразу, прожектора шли полосами, лиловое, белое, зелёное, и всё это вертелось, и я стоял секунду, держась за край шторы, и соображал, в какой стороне уборная.

* * *

Уборная была в дальнем конце зала, справа от бара, я это помнил по светящейся пиктограмме над дверью, и чтобы дойти до неё нормально, вдоль стены, нужно было обогнуть весь

танцпол по дуге, мимо столиков, мимо очереди к стойке, мимо фотозоны с каким-то голографическим вороном, который раскрывал крылья каждые четыре секунды. Я пошёл напрямую. Не потому что спешил, а потому что в тот момент прямая линия казалась мне единственным, что я ещё могу выбрать сам.

Электроника шла ровным тяжёлым пульсом, без мелодии, одна бочка и какие-то вздохи синтезатора поверх, и от этого пульса у меня в груди что-то резонировало, где-то под рёбрами, совпадало с сердцем, а потом расходилось, и снова совпадало. Толпа двигалась не как толпа, а как одно тело с сотней локтей. Я вошёл в неё с краю, и меня сразу развернуло плечом какого-то парня в куртке с подсветкой по швам, оранжевые полосы, как на дорожном рабочем. Я извинился, он меня не услышал. Дальше была девушка с бокалом над головой, она несла его как свечу, и я поднырнул, и всё равно мне на запястье капнуло чем-то липким и холодным. Воздух тут был отдельным веществом: пот, дым от машины, сладкая дрянь из вейпа, духи, опять пот. Стробоскоп резал движение на куски, руки, затылки, чей-то открытый рот, всё по отдельности, и мозг не успевал собирать это обратно в людей.

Меня вело. Бурбон я выпил быстро и на пустой желудок, если не считать трёх глотков кофе в кафе у Генри в полдень, и теперь пол под кроссовками слегка проваливался при каждом шаге, как палуба. Я думал: полтора дня. Он сказал полтора дня, может, меньше. Он сказал это, жуя сыр. И ещё я думал про гиацинт, он всё не отпускал меня, этот гиацинт в банке из-под краски, розовый, с подсохшими нижними лепестками, старик его явно поливал по расписанию.

И вот где-то на середине танцпола, между этим гиацинтом и чьим-то локтем в бок, мой взгляд вдруг сфокусировался. Так бывает, когда долго смотришь в муть, а потом в мути оказывается одна чёткая вещь, и ты цепляешься за неё, как за поручень.

Девушка стояла почти неподвижно в этом общем качании, рост под сто семьдесят, каре, крашеное в блонд, при вспышке белое, при зелёной заливке зеленоватое. Чёрные стрелки, аккуратно, тонко, без размазанности, которая к одиннадцати вечера бывает у всех. Красная помада. Чёрное платье до колена, строгое, как на собеседование, и кеды. Вот кеды меня почему-то и зацепили больше всего остального, потому что всё в ней было собрано, а кеды были обыкновенные, белые, с потёртым носком.

Она заметила, что я смотрю. Не отвернулась, не сделала вид. Подмигнула, коротко, одним глазом, как подмигивают знакомому через стол.

Может, это бурбон, подумал я. Хотя выпил я всего ничего.

Я прошёл мимо, задев её рукавом, и дошёл до двери с пиктограммой, и там всё было ровно так, как бывает в таких местах в половине одиннадцатого: очередь к писсуарам человек в шесть, кто-то громко рассказывал кому-то про начальника, кто-то смеялся в ГП, прислонившись к кафелю. Кафель был чёрный, с синей подсветкой по шву, и от него всё лицо в зеркале выглядело утопленником.

Я протолкался к умывальнику. Вода шла холодная, сенсор срабатывал через раз, и я умывался рывками, подставляя ладони под эти короткие порции. Намочил волосы, они у меня почти до каре, чёрные, и теперь висели мокрыми прядями надо лбом. Поднял голову и посмотрел на себя.

Там было лицо человека, которому за один день рассказали, кто его родители, а потом сказали, что его за это убьют. Карие глаза, покрасневшие от дыма, и в них ничего, кроме страха и непонимания. Я стоял и смотрел и пытался найти в этом лице что-нибудь от человека, который в Варме поднимал рабочих и три года держал фронт. Ничего. Обычная уставшая морда, воротник сорочки отсырел.

В спину мне кто-то толкнул, не грубо, просто напоминая, что очередь живая. Я вытер лицо бумажкой из автомата, бумага была жёсткая, как наждак, и вышел.

У двери я остановился, выдохнул, застегнул верхнюю пуговицу жилета и пошёл обратно к шторке, к Генри и Гизу, и тут сзади меня окликнули.

— Эй. Ты куда?

Женский голос, не громкий, но слышный сквозь бочку, что само по себе странно. Я обернулся. Метрах в трёх стояла она, та самая, с кедами.

— Это вы мне?

— Ну конечно. — Она подошла, не торопясь, обойдя двоих, которые несли по четыре бутылки пива в растопыренных пальцах.

— Я вообще-то к своему столику. К друзьям.

Она положила руки мне на плечи, просто так, как будто мы уже полвечера вместе.

— Давай короткий танец. Нам всё равно по пути, как раз перейдём танцпол.

Я не нашёл, что возразить. Положил руки ей на талию, ткань платья была плотная и прохладная, и мы двинулись боком в сторону столиков, в полтемпа от того, что гремело вокруг, и это выглядело, наверное, нелепо, двое топчутся вальсом под электронику, но в этой толпе никому не было дела.

— Как тебя звать?

— Карл. А тебя?

— Хелен.

— Приятно познакомиться.

— И мне.

Мы прошли так метра три. От неё пахло чем-то сухим и горьковатым, не духами из рекламы, а как от бумаги, которая долго лежала в ящике.

— Те люди за столиком, — сказала она. — Ты их назвал друзьями. Ты правда так считаешь?

Мне бы спросить, откуда она знает, за каким я столиком. Я не спросил, я вообще в тот вечер задавал неправильные вопросы или не задавал никаких.

— Генри я знаю с четырнадцати лет. Мы давно дружим. А с Джоном познакомился сегодня.

— Понятно, — сказала она и чуть повела меня в сторону, пропуская спиной вперёд какого-то танцующего. — Берегись их, Карл. Они тебе желают хорошего, а на самом деле грязную работу сделаешь ты, заработают они и исчезнут. Ты будешь стоять и моргать.

— Откуда ты это знаешь?

— Просто дружеский совет.

— А давно мы с тобой дружим?

— Буквально пять минут. — Она не улыбнулась. — Но я тебя уже предупредила об опасности. А твой Генри за десять лет только начал говорить, и то через Франта. Жаль старика.

Вот тут у меня внутри что-то щёлкнуло и встало на место неприятно, как сустав. Про Франта за этим столиком сказали вслух двадцать минут назад, за шторкой, под музыку. Я посмотрел на неё сверху, стрелки, ресницы, зрачки большие от темноты, и ничего там не прочитал.

— Ты знала его?

— Я знаю много чего. — Она смотрела мимо моего плеча, на зал, и я понял, что она всё это время считает людей за моей спиной. — Не оборачивайся. Шаг влево.

Я шагнул влево. Ничего не произошло, никто мимо не прошёл, и я до сих пор не знаю, была это проверка или она просто меня вела.

Столики были уже близко, я видел нашу шторку, бледную полосу света из-под неё.

— Мы ещё увидимся, Карл. Будь внимательным.

Она взяла меня за запястье, развернула руку ладонью вниз и поднесла к моему ГП свой, у неё он был на внутренней стороне предплечья, тонкий, матовый, без логотипа. Короткий зуммер, и на моём высветилось: «Встретимся завтра. Сент-Гент, переход возле станции В-3». Канал был закрытый, без метки оператора, я таких вживую не видел, только слышал, что они стоят как квартира в центре.

Я кивнул. Не потому что согласился, а потому что в тот момент кивать было проще, чем думать.

— До встречи, Хелен.

Она потянулась к моему лицу и поцеловала в щёку, быстро, сухо.

— Приходи один и без хвоста. Пока.

И ушла, назад, в сторону танцпола, не оглядываясь, и каре мелькнуло белым в стробоскопе два раза, и на третий его уже не было. Я стоял между столиком с фонарём и колонной, вытирал щёку большим пальцем, и на пальце осталась красная полоса, и я вытер её о внутреннюю сторону кармана, чтобы Генри не увидел.

Бочка колотила в прежнем темпе. Голова всё ещё кружилась, но как-то иначе, не по кругу, а в одну сторону, и это было почти терпимо.

* * *

Шторка была тяжёлая, из какой-то плотной синтетики под бархат, и когда я её отвёл, музыка за спиной будто отступила на полшага, стала глуше, как будто её завернули в одеяло, а бочка осталась, бочка шла через пол и через ножку стола и через стакан, и в бурбоне на дне моего стакана дрожали мелкие круги.

— О, а вот и наш мальчик, — сказал Гиз, не поворачивая головы. — Я уж решил, ты через окно в сортире ушёл. Там, кстати, решётка.

Он держал стакан в кулаке, целиком, как держат кружку с кипятком, и на тыльной стороне ладони у него было что-то синее, старое, расплывшееся, уже не разобрать что. Лицо у него в свете настольного фонаря выглядело хуже, чем от входа: меч, проходящий сквозь глаз, тянулся от брови к скуле, и тушь татуировки была зелёная, выцветшая, и из-за этого казалось, что у него под кожей что-то давно затекло и не рассосалось.

Я сел, подтянул рукав сорочки, чтобы не попасть в лужицу от стакана Генри, и ещё раз провёл пальцем по щеке. Помады там уже не было, я знал, что её нет, но палец сам шёл.

— Прошу прощения. День очень длинный.

— Длинный у него, — сказал Гиз в стакан.

— Да брось, Карл, всё нормально, — Генри подвинул мне стакан на два пальца, как сестра милосердия подвигает лекарство. — Выпей. Тебе надо.

Я выпил. Бурбон был дешевле, чем бутылка выглядела, он жёг сначала язык, а потом только затылок, и это было не неприятно, это было хоть что-то простое за весь день. Сырная тарелка стояла нетронутая, кто-то из них отломил один виноград, и виноградина лежала отдельно, рядом с ножом.

— Перейдём к делу, время-то тик-так, — Гиз постучал костяшкой по столешнице, и фонарь мигнул.

Генри повернулся ко мне всем корпусом, и он всегда, с четырнадцати лет, делал так перед тем, как сказать мне что-то, от чего мне потом неделю было плохо. Поворачивался всем корпусом, будто иначе я не услышу.

— Карл. Есть информация, что твоя мать жива.

Музыка там, за шторкой, как раз уходила вниз, на тот провал, который делают перед тем, как всё обрушить обратно, и я помню, что в этом провале очень отчётливо было слышно, как за соседним столиком смеётся женщина, тремя короткими выдохами.

Мне было двадцать пять лет, и до сегодняшнего утра у меня матери не было вообще, никакой, ни живой, ни мёртвой, была графа в документах приюта и слово «сирота», к которому я привык, как привыкают к росту или к размеру ноги. А тут за полдня мне её сначала выдали, Франт выдал, с именем, с фамилией в девичестве, с должностью, с беременностью в девяносто девятом, выдал и тут же закопал, потому что всё, что я понял из его рассказа, это что от Варма остался пепел. И вот теперь её откапывали обратно, в кабинке с бархатной шторкой, под электронику, человек в джинсовом костюме.

— Жива, — сказал я.

— Жива.

— Откуда информация?

— Оттуда же, откуда всё, — Гиз даже не стал ждать, пока Генри откроет рот. — Из бумажек. Люди не исчезают, Вайт, исчезают только из газет. Человека можно убрать с улицы, из дома, из списка жильцов, но он всё равно где-то лежит строчкой, потому что за него кто-то отчитывается. Кто-то всегда отчитывается.

— И где она лежит строчкой?

— В министерстве, — сказал Генри.

Я засмеялся. Нехорошо засмеялся, коротко, одним толчком, и сам этого испугался.

— Ну да. Где ж ей ещё лежать.

— Там архив, — Генри говорил тихо и быстро, он так говорил, когда уже всё решил. — Четвёртый уровень, закрытый контур. То, что не в сети. Оно вообще нигде, Карл, понимаешь, это не то, что можно запросить. Физический носитель, физический доступ.

— То есть туда надо прийти.

— Туда надо прийти.

— И кто пойдёт?

— Не мы, а ты, — Гиз поставил стакан. — Чего ты глазами хлопаешь. Я тебя по коридорам поведу, я к управлению зданием подключусь, я все камеры буду видеть, я тебе карту этажей скину на ГП, у тебя перед глазами будет синяя линия, как в навигаторе для старух. Иди, стой, иди. Ребёнок справится.

— А ты, — я повернулся к Генри, — ты где будешь?

— Снаружи. Страхую. Форму я тебе уже достал, и пропуск тоже. — Он помолчал ровно столько, сколько нужно, чтобы я понял, что пропуск он достал не вчера. — Тебе только подстричься надо.

— Великолепно. — Я два раза хлопнул в ладоши, тихо, и Гиз посмотрел на меня как на идиота, и правильно посмотрел. — Просто блестяще. Форма, пропуск, стрижка. А если что-то пойдёт не так? Если я зайду, а там на меня сверху посмотрят и скажут: добрый вечер, господин Вайт, мы вас ждали с утра.

— Не скажут, — сказал Гиз.

— Почему?

— Потому что там по субботам сидят три охранника, из которых двое смотрят матч, и потому что в форме никто ни на кого не смотрит. Ты в этой стране первый день живёшь? Человек в форме с пропуском невидимый. Тебя видят, только когда ты стоишь и думаешь. Вот этого не делай.

Он отломил кусок сыра, сунул в рот, и я почему-то запомнил, что он ел с ножа, прижимая сыр большим пальцем к лезвию.

— Выведу я тебя, — добавил он с набитым ртом. — Мне ты нужен снаружи, а не внутри.

Вот это, пожалуй, было самое честное, что я услышал за весь вечер.

— Хорошо, — сказал я. — Теперь давайте вот эту часть. Генри, с тобой понятно, ты мой друг, у тебя совесть, десять лет молчания, всё это. А ты, Джон? Тебе-то зачем моя мать?

Гиз впервые посмотрел на меня прямо, двумя глазами, и меч на его лице от этого стал как-то меньше.

— Мне твоя мать как прошлогодний снег, — сказал он. — Возьмёшь для меня носитель. На том же этаже, где лежит твоя. Он там один такой, Генри тебе покажет картинку, перепутать нельзя. Я тебе помог, ты мне помог, равный обмен, понимаешь?

— Равный, — повторил я.

— Равный.

— Я иду под камеры с чужим пропуском, а ты сидишь и смотришь на меня в эти камеры. Это у вас так считается равным.

— У нас, Вайт, равным считается, когда обе стороны после остаются при своём, — Гиз пожал плечами, и куртка на нём скрипнула. — Тебе нужна она, мне нужна железка. Я железку сам взять не могу, у меня, видишь ли, лицо приметное. А тебя туда пустят, потому что ты никто. Пока никто.

Генри под столом пихнул его коленом, я это почувствовал по тому, как дёрнулась ска-терть.

— Что в носителе? — спросил я.

— Не твоё дело.

— Генри. Что в носителе?

Генри смотрел в свой стакан и крутил его за донышко, и в стекле ходил бирюзовый отблеск от барной стойки, той самой, уродливой, бирюзово-фиолетовой, которая торчала в этом деревянном ирландском полумраке, как имплант в челюсти.

— Списки, — сказал он наконец. — Люди, которых Джон переправляет. Он хочет знать, кто из них уже в работе.

— И это всё?

— Это всё, что тебе надо знать сегодня.

Я кивнул. Сегодня мне кивать было проще, чем думать, я это уже понял про себя, и мне это про себя не понравилось.

— Когда?

— На этой неделе. Скорее в субботу, народу меньше, — Генри наконец поднял глаза. — Суббота, Карл.

— Суббота, — подтвердил Гиз. — И до субботы ты живёшь тихо. Работа, дом, пиво, девка, что там у тебя. Никаких старичков по адресам. Один уже догулялся.

Он сказал это без всякого выражения, тем же голосом, которым просил сыр, и я почувствовал, как у меня в ушах снова начинает звенеть, тонко, на одной ноте, поверх бочки. Я допил то, что оставалось в стакане, и поставил его донышком точно в мокрый круг на столе, зачем-то очень аккуратно, попал с первого раза.

У меня в голове в этот момент была совершенно дурацкая мысль, я её стыжусь до сих пор: я подумал, что в субботу вот это, и что надо будет как-то выспаться.

— Я оставлю вас, — сказал я и встал. — Слишком много сегодня информации.

— Да конечно, — Генри тоже привстал, по-хозяйски, провожая. — Маякни мне на ГП завтра, насчёт стрижки скину адрес. На связи, Карл.

— На связи, Генри. — Я посмотрел на лысину Гиза, на которой фонарь оставлял белое пятно. — Гиз.

— Иди уже.

Шторка упала за мной, и музыка сразу стала громкой, как будто её только что включили, и в лицо дохнуло чужим парфюмом, сигаретным дымом и ещё чем-то кислым, что бывает в барах к ночи.

* * *

На улице было холоднее, чем мне запомнилось час назад, и воздух показался почти чистым после бара, хотя чистым он в Сент-Генте не бывает никогда. Очередь ко входу стала длиннее, человек на сорок, она загибалась за угол вдоль стены и шевелилась, как что-то живое; девчонки в коротких куртках прыгали на месте, чтобы согреться, кто-то в середине громко рассказывал историю, которая, судя по интонации, была смешной только ему. Те же два охранника стояли у дверей, и у того, что справа, на плече висела штука, которую в общественных местах вообще-то носить нельзя, но тут, видимо, можно.

Среда ведь. Аншлаг в среду, подумал я и сам себе не поверил.

Такси я вызывать не стал. До дома было около километра, может чуть больше, и мне показалось хорошей идеей пройти это пешком, потому что в салоне с автопилотом некуда девать руки и начинаешь слушать собственную голову в полной тишине, а слушать её прямо сейчас мне не хотелось совсем. Я пошёл вниз по улице, мимо очереди, мимо парня, блюющего в декоративный куст с подсветкой, мимо компании, которая несла над головой чей-то ботинок и смеялась так, что у них перехватывало дыхание.

Метров через тридцать я свернул направо, на главную. Фонари здесь дают жёлтый свет, нормальный, тёплый, а вывески сверху красят его в бирюзовое и фиолетовое, и в итоге человеческое лицо в этом свете выглядит так, словно человеку нехорошо. У всех нехорошо. Из открытой двери какого-то заведения тянуло жареным маслом и били басы без слов, одна голая ритмика, потому что со словами теперь сложно, слова надо согласовывать, и проще вообще без них. Я иду по улице, где музыку лишили текста, и думаю, кому из трёх человек я могу верить. Отличный день получился.

Генри. Генри я знаю с четырнадцати, он тогда был мальчиком из хорошего дома, который приходил в нашу школу в ботинках за мою годовую одежду и ни разу этим не ткнул, ни разу, я помню. Мы десять лет пили вместе, он таскал меня из передряг, я вытаскивал его. И все эти десять лет он знал, кто такой Джонатан Вайт. Знал и молчал, а заговорил только тогда, когда ему понадобилось, чтобы я зашёл в министерство в чужой форме. Это можно объяснить по-доброму: берёг, не хотел грузить, ждал, пока я окрепну. Такие объяснения всегда можно собрать, их собирать легко, как мебель по инструкции, только потом садишься и она под тобой скрипит.

Гиз. Гиз мне понятнее всех, и это, пожалуй, единственное, что в нём хорошего. Человек хочет железку. Получит железку, уйдёт. Если по дороге меня придётся оставить в коридоре, он меня оставит в коридоре и даже не станет потом врать себе, что хотел как лучше. С такими, говорят, проще. С такими проще ровно до того момента, пока ты им нужен.

И Хелен. Хелен я знаю пять минут, и за эти пять минут она сказала мне больше, чем Генри за десять лет. Красивая девушка в чёрном платье и кедах подходит к тебе в баре, кладёт руки на плечи и предупреждает об опасности. Это звучит ровно так, как звучит ловушка, я не настолько пьян, чтобы этого не понимать. Но я и не настолько трезв, чтобы это проигнорировать. Она сказала про Франта «жаль его», и сказала так, как говорят про знакомого, а не

про имя из новостей, тем более что имени из новостей там нет, я проверял потом, там вообще ничего нет.

Я шёл и считал: трое, и ни одного своего. Красиво устроились.

А ведь интересно получилось, если смотреть со стороны. Мама с папой устроили войну ради высших идей, ради всемирного равенства и свободы, ради того, чтобы рабочий в Варме ел мясо не по праздникам, и у них даже какое-то время получалось, судя по рассказу старика с гиацинтом на подоконнике. А потом их город сожгли, их самих стёрли, а меня сдали в приют в Сент-Гент, на улицу Вождя, и это, как я уже говорил, чертовски остроумно, если у судьбы вообще есть чувство юмора. Тридцать лет назад двое взрослых людей приняли решение, и теперь я иду по ночной улице, потому что они его приняли. Я заложник чужого выбора. Меня даже не спросили, а спросить было, честно говоря, некого, я тогда ещё не родился.

Вот что меня действительно царапало. Не страх, страх пришёл раньше, в баре, с этим звоном в ушах, и уже успел осесть, как пыль. Царапало то, что все вокруг знают обо мне больше, чем я сам. Генри знает. Гиз знает. Хелен знает. Флик Херсвог со своей улыбкой, похожей на приклеенную, тоже, кажется, знает, и улыбается именно поэтому. Один я двадцать пять лет жил с фамилией Вайт как с пятном на рубашке, которое не отстирывается, и не понимал, откуда пятно.

ГП дёрнул меня по запястью коротким двойным сигналом, служебным, и всплыло уведомление прямо поверх мокрого асфальта в моём поле зрения.

«Уважаемый Карл Вайт, ждём вас на первом рабочем дне в пятницу, начало смены 7:00. Просим не опаздывать. С уважением, компания ДМГ».

Я остановился посреди тротуара, и меня обтекла толпа, кто-то задел плечом и даже извинился, что в этом районе почти невероятно. Пятница, семь ноль-ноль. Я стоял и смотрел на эти буквы и чувствовал что-то вроде благодарности, настолько они были нормальные. В пятницу работа, в субботу министерство.

Дальше я шёл уже медленнее. Толпа густела у перекрёстка, шумные компании втягивались в питейные, где-то наверху крутился рекламный маскот размером с автобус и беззвучно разевал пасть, предлагая кредит, и его зелёный отсвет лежал на лицах прохожих, добавляя к общей бледности оттенок болезни. Меня слегка вело, я понял это по тому, что пару раз сошёл с прямой и задел урну. Бурбон был хороший, кстати. Генри всегда заказывает хорошее, платит тоже он, и раньше мне это казалось просто чертой характера.

Супермаркет на углу светился во всю витрину и был абсолютно пуст. Ни одного человека среди прилавков, ни на кассах, ни у холодильников, только потолочные панели гудели на одной ноте и где-то в глубине тележка сама ехала вдоль стеллажа, подравнивая упаковки. Я зашёл. Шаги по плитке отдавались так, что я невольно пошёл тише.

И вот тут случилось самое странное за весь день. Я взял корзину, прошёл до холодильника и взял апельсиновый сок, тот, который беру всегда, в квадратной бутылке. Потом круасаны с шоколадом, потому что утром я ничего не ем, но вечером покупаю так, будто ем. Потом пару стаканов лапши быстрого приготовления, потому что в пятницу смена с семи и готовить я не буду. Потом два готовых набора с курицей, они по акции, у них срок до завтра. Я стоял

над полкой, стоял и выбирал между курицей и рыбой, и это было так буднично, что у меня на секунду всё сошлось обратно, как будто день был обычный и я просто вышел в магазин.

Касса самообслуживания поздоровалась, посчитала, пожелала хорошего вечера и попросила не забыть товар. Я сложил всё в пакет и подумал, что Франт сегодня тоже, наверное, собирался что-то поесть.

На улице я поставил пакет между ботинок, вытащил сигарету и закурил. Первая затяжка после выпивки всегда отдаётся в затылке, я постоял, глядя на дорогу, по которой в сторону центра шли пустые такси, выстроившись цепочкой, как муравьи, с горящими зелёными метками на крышах. Напротив, через улицу, светилась вывеска «Баркли», та самая, которая по ночам красит мою комнату в фиолетовый, и это значило, что дом уже совсем рядом, метров триста.

ГП дёрнулся снова, уже не служебно, а мягко, как дёргаются личные.

«Жду тебя в назначенное время и в назначенном месте. Береги себя и не приведи за собой хвост. Надеюсь на тебя».

Надеется она на меня. Женщина, с которой я знаком пять минут, надеется на меня, а я даже не знаю, как её фамилия и существует ли фамилия вообще. Я затаился, задержал дым, выпустил его в сторону вывески и сказал вслух короткое слово, которое в приюте у нас ценилось за универсальность и которое сейчас, кажется, подходило лучше всего.

Получилось громче, чем я рассчитывал.

* * *

— Ты зачем так выражаешься?

Я повернулся на голос так резко, что чуть не наступил на собственный пакет. В трёх шагах от меня, под козырьком магазина, где свет витрины ложился ровной белой полосой на асфальт, стояла Джина с бумажным пакетом в руках, и по её лицу было件нятно, что она слышала всё целиком, от первой до последней буквы.

— Привет, Джина.

— Привет. Ты стоишь у магазина, с сигаретой, и ругаешься на всю улицу. Это новая программа вечера?

— День тяжёлый выдался.

— Это не повод.

— Смотря с какой стороны посмотреть. Но я тебя прекрасно понял.

Она подошла ближе, и я увидел, что волосы у неё собраны в пучок, не наспех, а аккуратно, с той дурацкой заколкой в виде листа, которую она носит, сколько я её помню. Круглые очки чуть сползли на нос, она поправила их свободной рукой, тем движением, которое я мог бы узнать со спины и в темноте. Чёрная кофта, заправленная в серые джинсы, сумка через плечо. Со зрением у неё всегда было плохо, и я никогда не мог понять, почему она не ходит в клинику

и не поставит себе импланты, как делают все, но спрашивать было неудобно, а теперь уже и привычно.

— Хорошо выглядишь, — сказал я и сам удивился, как ровно это прозвучало. Голос у меня работал отдельно от остального.

— Спасибо, Карл. А ты какой-то уставший. Что-то случилось?

Я затанулся, медленно, выгадывая себе эти три секунды. Что случилось. Случилось то, что человек, с которым я разговаривал четыре часа назад на его кухне, где на подоконнике стоял гиацинт, сейчас лежит в своей квартире на Старом Сенте, и в лентах про это нет ни строчки. Случилось то, что за мной, судя по всему, ходят люди в одинаковых пальто с зелёной полоской на лацкане. Случилось то, что в субботу я пойду в министерство в чужой форме.

— Да не особо, — сказал я. — На работу взяли. ДМГ. В пятницу приступаю.

И вот тут у неё лицо изменилось по-настоящему. Она не ахнула, не всплеснула руками, она просто улынулась всем лицом сразу, и в этой улыбке не было ничего, кроме того, что она за меня рада.

— Карл, это же замечательно. Ты сколько туда пробивался?

— Полгода. Если считать все отказы, то восемь месяцев.

— Я помню, ты в июле ходил весь зелёный, как будто тебя обокрали.

— Меня и обокрали, собеседование было в Фирсе, туда два часа, оттуда два, и в конце мне сказали, что позиция закрыта внутренним кандидатом.

— Ну вот, — она переложила пакет в другую руку. — А теперь ДМГ. Поздравляю. Правда поздравляю, не для вежливости.

— Спасибо.

Странно это было. Весь вечер со мной разговаривали люди, которые знали обо мне больше, чем я сам, и каждый из них что-то от меня хотел, а тут стояла женщина, которая знала про меня то, что я курю, что я ищу работу и что я ругаюсь у магазина, и ничего больше ей не было нужно. Я вдруг поймал себя на том, что мне не хочется отсюда уходить.

— Ты домой? — спросила она.

— Домой.

— Не против, если составлю компанию? Нам же всё равно в один подъезд.

— Конечно нет. Ещё спрашиваешь.

— Ну вдруг, — сказала она и чуть пожала плечом. — Может, у тебя кто-то появился и тебя будут ревновать за прогулки с соседкой.

— Нет. Я пока всё так же один.

— Уточнить следовало.

Я бросил окуроч в урну, забрал у неё пакет, она сначала сделала вид, что не отдаёт, потом отдала, и мы пошли вдоль витрин в сторону дома. Триста метров, может, четыреста. Фонари на нашей улице старые, ещё с жёлтыми лампами, их давно обещают поменять, и из-за этого свет здесь тёплый, как в кино про прошлое, а сверху на него ложатся бирюзовые и фиолетовые пятна от вывесок, и получается какая-то каша, в которой лица прохожих меняют цвет каждые десять шагов. По обеим сторонам шли люди, уже разогретые, компании по четыре-пять человек, кто-то нёс бутылки прямо в руках, кто-то орал песню, которую крутят в каждом заведении от центра до окраины, и в этом было что-то успокаивающее, потому что всем этим людям не было до меня никакого дела.

Пакеты были тяжёлые, оба. У неё там, судя по весу, лежали книги.

— Как думаешь, Карл, — сказала Джина после того, как мы миновали вторую компанию, — возможно ли, что мы когда-нибудь сможем создать общество без насилия и классового неравенства?

Я чуть не засмеялся. Не над ней. Над тем, в какой день она решила об этом спросить.

— Ты всегда такие вопросы задаёшь по дороге из магазина?

— У нас сегодня на кафедре был спор, — она сказала это серьёзно, без извинения за тему. — Я не смогла ничего толком возразить и теперь хожу и думаю.

— О чём спорили?

— О том, что равенство невозможно, потому что люди разные. Мне кажется, это подмена. Люди разные, да, но разность людей и то, что у одного четыре этажа, а у другого койка в модуле, это разные вещи. Я это чувствую, а сказать красиво не умею.

— Ты сейчас неплохо сказала.

— Тогда сформулировала хуже. И мне ответили, что я идеалистка.

Мы перешли боковой проезд. Такси шли мимо пустые, с зелёными метками, одно при- тормозило возле нас, помигало и уехало дальше, не дождавшись.

— Возможно, — сказал я наконец. — Но не в этом поколении.

— Почему?

— Мы слишком искушены. Властью, деньгами, вещами. Я вот сегодня весь день думал о том, как бы меня взяли на работу, а когда взяли, подумал, сколько будут платить, и тут же прикинул, когда смогу поменять холодильник. Это я. Куда мне в общество без неравенства.

— Это не искушённость, это холодильник, — сказала она. — У тебя он гудит так, что мне через стену слышно.

— Он не гудит, он разговаривает.

— Он разговаривает по ночам, Карл.

— Значит, у него тоже тяжёлый день.

Она засмеялась, негромко, и поправила очки свободной рукой, и я вдруг понял, что за весь вечер смеюсь впервые.

— И всё-таки, — сказала она. — Как от этого избавиться?

— Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос.

Я сказал это и сам услышал, как честно это получилось, честнее, чем я собирался. Потому что вопрос у неё был про общество, а ответил я про себя. У меня не было ответа ни на что из того, что произошло со мной за один этот день, и больше всего меня придавливало не то, что я чего-то не знаю, а то, что всё уже решили до меня, давно, тридцать лет назад, на каком-то митинге, где я ещё не существовал. И теперь я иду по улице Вождя с чужим пакетом и рассуждаю про общество, как будто у меня есть в нём хоть какой-то голос.

— Я тоже много об этом думаю, — сказала Джина. — И тоже не могу найти.

— Может, что-то и получится, — сказал я, — когда у людей будет реальный выбор. А не слабая его версия.

— Что значит слабая?

— Это когда тебе говорят: решай сам. А варианты уже разложены, и их два, и оба чужие. И какой бы ты ни взял, ты всё равно сделаешь то, что кто-то для тебя придумал. Люди называют это выбором, потому что рука своя.

Она помолчала немного. Я слышал, как у неё в пакете что-то переложилось.

— Да, — сказала она. — Скорее всего, так.

Дальше мы шли молча, и это молчание было лучшей вещью за весь вечер. Я смотрел на знакомый поворот, на наш дом, у которого второй подъезд светился лампой, а первый уже третий месяц не светился, на мигающую букву в вывеске «Баркли» напротив, которая по ночам красит мою стену в фиолетовый. Тротуар здесь просел, и в трещине всегда стоит вода, даже когда дождя не было неделю. Я переступил через неё, не глядя, как переступал тысячу раз, и подумал, что вот это я знаю. Вот эту лужу, этот поворот, этот подъезд, эту женщину рядом, которая спорила на кафедре и теперь носит спор домой в пакете вместе с продуктами. Больше у меня ничего своего нет.

— Тебе в пятницу к семи? — спросила она у самой двери.

— К семи. Значит, выходить в полшестого.

— Ужас.

— Ужас, — согласился я и придержал ей дверь.

* * *

Лестница у нас старая, с бетонными ступенями, у которых края стесались до округлости, и на каждом пролёте стоит одна панель освещения, из тех, что реагируют на движение с опозданием в полсекунды, так что первый шаг ты всегда делаешь в темноте, а свет догоняет тебя уже на втором. Я шёл чуть позади, с двумя пакетами, своим и её, и слушал, как у неё в пакете стеклянно позвякивает что-то, банка, наверное, и как её кроссовки шаркают по площадке между этажами. Пахло подъездом: краской, которую мазали года три назад, чужим ужином с третьего, сыростью от мусоропровода, который заварили ещё до того, как я сюда въехал. На втором этаже кто-то смотрел передачу так громко, что через дверь было слышно смех в записи.

— Знаешь, Карл, я тут думала, — сказала Джина, и голос у неё прозвучал не так, как весь предыдущий километр.

Я поднял голову. Она была на три ступени выше, и панель как раз зажглась, и очки у неё блеснули белым, так что лица я не увидел.

— О чём?

Она остановилась. Буквально на секунду, может на две, я успел сделать один шаг и оказаться с ней почти вровень, и за эту секунду она успела передумать.

— Не важно.

И пошла дальше, быстрее, чем шла до этого, через ступеньку, и пакет у неё в руке опять звякнул, уже сердито.

Я остался стоять, где стоял. За сегодняшний день мне сказали, что человека, у которого я три часа пил чай с запахом канализации в подъезде, застрелили, что следующий в очереди я, что мать, которую я всю жизнь считал мёртвой, лежит где-то строчкой в архиве министерства, и что в субботу мне нужно будет надеть чужую форму и пойти туда ногами. И вот из всего этого я стоял на лестнице между третьим и четвёртым и пытался понять, что именно она не договорила. Голова у меня, если честно, была как после плохой стирки.

— Джина.

Она не обернулась. Я пошёл следом, и на четвёртом этаже свет уже горел, потому что она его разбудила, и наш длинный коридор лежал передо мной весь целиком, со своими стенами, крашенными в два цвета по горизонтали, сверху белым, снизу зелёным, и с этой полосой посередине, которую кто-то когда-то провёл ровно, а теперь она шла волной, потому что стену за двадцать лет подмазывали кусками. В конце коридора, у окна, мигала точка датчика, и за окном через двор светила вывеска «Баркли», и буква «р» у неё, как всегда, срывалась.

Джина уже была у своей двери. Она поставила пакет на пол, под ноги, и копалась в кармане кофты, ища ключ, хотя ключ у неё, я точно знал, всегда лежит в правом, и больше там ничего не лежит, и искать там нечего.

Я подошёл и поставил её второй пакет рядом с первым. Она не посмотрела.

— Эй.

Я взял её за руку. Не за кисть даже, за запястье, и почувствовал, какое оно у неё тонкое и холодное, холоднее, чем воздух в коридоре, и под кожей бился пульс, частый, быстрее, чем положено человеку, который просто поднялся на четвёртый этаж.

— Что случилось?

— Ничего.

— Ты же врёшь.

Вот тут она подняла голову. Очки у неё слегка съехали, она их не поправила, и я увидел наконец её глаза, зелёные, за стеклом чуть уменьшенные, потому что диоптрии у неё минусовые и всегда делают её взгляд меньше, чем он есть. И в этих глазах не было ни обиды, ни злости, ничего из того, к чему я приготовился, пока шёл по коридору. Там была надежда. Голая, неприкрытая, выставленная на меня, как будто человек стоит на пороге и держит в руках что-то своё и ждёт, возьмут или нет, и уже понимает, что спрашивать словами не будет, потому что спросить словами страшнее.

Я за один этот день насмотрелся на то, как люди смотрят. Гиз смотрел, как на вещь, которую надо сначала использовать, потом посчитать. Генри смотрел мимо, в стакан, в стол, в свои десять лет молчания. Хелен смотрела так, как будто уже знает, что я сделаю, и просто ждёт, когда я догадаюсь. А эта женщина, с которой мы ходим в один и тот же магазин и слышим друг у друга через стену холодильники, смотрела на меня так, будто я ещё могу что-то решить сам.

И я поддался.

Я наклонился и поцеловал её, и это было неловко, потому что я был выше, а она не ожидала, и очки у неё вжались мне в скулу, и она сначала замерла вся, от плеч до пальцев, которые я всё ещё держал. А потом перестала замирать. Рука у неё в моей ладони повернулась и легла удобнее, и она чуть приподнялась на носках, и от неё пахло не духами, а чем-то простым, мылом и улицей, и ещё немного бумажной пылью, той, которая въедается в людей, работающих среди книг и аудиторий. Губы у неё были сухие и тёплые. Никакого неона, никаких фиолетовых отсветов, лампа в коридоре светила обычным жёлтым светом, и в этом свете всё было настоящее до смешного: полоса на стене, пакеты у ног, звук чьего-то телевизора снизу.

Я не знаю, сколько это длилось. Думаю, недолго. По ощущению — ровно столько, сколько мне было нужно, чтобы ни о чём не думать, и это был первый такой промежуток за весь день с половины шестого утра.

Она отстранилась первая. Поправила очки, обеими руками, как делают, когда руки нужно куда-то деть.

— Я пойду, пожалуй, — сказала она совсем тихо, почти шёпотом, и не мне, а куда-то в сторону моей рубашки.

— Хорошо. Я напишу тебе.

— Да.

Она нагнулась, подняла оба пакета сразу, хотя один я мог бы ей донести до кухни, и дверь у неё открылась с первого раза, значит, ключ всё-таки был в правом кармане. На пороге она обернулась. В квартире у неё горел ночник в прихожей, слабый, и от этого её лицо наполовину ушло в тень.

— Береги себя, Карл.

— Обязательно, — сказал я.

И сказал это так легко, как говорят вещи, которые ничего не стоят, а потом, когда дверь уже закрылась и замок щёлкнул два раза, я стоял в коридоре и слушал, как это слово висит в воздухе и становится тяжёлым. Бережь себя. В субботу. С чужим пропуском. Она ведь просто попрощалась, как прощаются соседи, которым завтра вставать на работу.

Я постоял ещё немного напротив её двери, как идиот, с одним своим пакетом, в котором болтался апельсиновый сок и два стакана лапши. За стеной у неё зажёгся свет, потом зашумела вода в кране, потом что-то стукнуло, холодильник, наверное, её собственный, который не разговаривает по ночам и поэтому ей не с чем сравнивать.

Потом я повернулся и пошёл к себе, и шёл эти восемь шагов очень медленно, и на ходу пытался пересчитать день заново, с начала, и у меня не сходило. Утром я волновался из-за собеседования. Днём узнал, что моя фамилия для половины города значит больше, чем для меня самого. Вечером мне сообщили, что мёртвых в этой истории уже прибавилось, а живых будет меньше. А в конце, в самом низу списка, последней строкой, оказалась Джина, которая стояла на лестнице и не договорила фразу, и которую я поцеловал, потому что у неё единственной во всём этом вечере было лицо, а не функция.

Со мной за день случилось столько всего, что я уже перестал удивляться. Но вот этому я удивился.

Я приложил ладонь к панели своей двери, замок пискнул, и я зашёл в тёмную прихожую, где в комнате уже лежала на стене привычная фиолетовая полоса от «Баркли».

* * *

Свет я не стал включать. В прихожей и так было видно всё, что мне нужно было видеть: вешалка, край зеркала, мои собственные кроссовки с кибер-вентиляцией, которые я утром надевал как на праздник, потому что они единственные у меня приличные, а теперь они стояли носками в стену, перепачканные чем-то серым с окраинных тротуаров Старого Сента.

Пакет я бросил на кухонный стол, и он лёг плохо, завалился набок, из него выехала коробка с круассанами и остановилась у самого края. Я смотрел на неё секунд пять и думал, упадёт или нет. Не упала. На этом удача сегодняшнего дня, пожалуй, и заканчивалась.

Я сел на стул, положил руки на стол ладонями вниз и начал заново, по порядку, как складывают накладные.

Генри. Генри я знаю с четырнадцати лет. Генри таскал мне в приют шоколад, который ему покупала мать пачками, Генри смеялся над моими ботинками и сам же потом притащил свои старые, на размер больше, и сказал, что они жмут. Генри десять лет сидел со мной в одних и тех же кафе, слушал, как я жалуюсь на отказы по работе, и ни разу, ни единого раза не сказал: слушай, Карл, а ты вообще знаешь, кто твой отец. Он знал. Он сегодня сам это признал, легко так, между делом, будто речь шла о том, что он давно в курсе, что я не люблю оливки. Вопрос не в том, скрывал ли он. Вопрос в том, что он делал всё это время, пока скрывал, и для кого.

Гиз. Гиза объяснять не надо, Гиз как раз самый честный из всех. Человек с мечом через глаз на лице, который прямым текстом говорит, что хочет носитель и деньги, и которому на мою мать, на Варм, на всю революцию вместе с пеплом глубоко наплевать. С такими как раз проще. Он не предаст, он просто продаст, когда дадут больше, и у него даже лицо при этом не поменяется. Беда в том, что ведёт меня по коридорам министерства будет именно он, и если ему кто-нибудь предложит больше прямо посреди четвёртого уровня, я узнаю об этом последним.

Хелен. А вот тут совсем смешно. Девушка, которую я видел ровно одиннадцать минут, половину из них в полумраке и в движении, знает про меня больше, чем я сам, имеет закрытый канал связи, за который, судя по тому, как он лёг мне на ГП, платят примерно как за квартиру в Центр-Генте, и первым делом предупреждает меня о моём единственном друге. Либо она действительно хочет мне добра, что звучит как анекдот, который рассказывают в приюте, либо ей нужно то же самое, что и всем остальным, просто она умеет подойти ближе.

Итог: трое. Верить нельзя ни одному. Замечательный расклад, Карл.

Я снял рубашку, повесил его на спинку стула, и от сорочки ощутимо потянуло баром: чужой сладкий дым, пролитый кем-то сидр, что-то ещё, стерильное, из уборной. Рубашку надо было стирать. Рубашка была одна приличная, и в пятницу в семь утра мне в ней стоять на проходной ДМГ перед камерой-считывателем, которая прочитает мою фамилию и, возможно, что-нибудь при этом подумает.

И вот тогда, уже вставая за соком, я подумал про Франта, и мысль пришла не целиком, а как-то сбоку, с запахом его подъезда, с той канализационной сыростью на лестнице, с гиацинтом на подоконнике, единственным живым предметом во всей его квартире. Шестьдесят восемь лет. Отсидел, вышел, поселили под надзором, оборвал всё, что можно было оборвать, двадцать с лишним лет жил так тихо, что его никто не трогал. И вот приходит мальчик с фамилией Вайт, сидит у него на кухне два часа, выпивает не много за беседой, уходит, а через десять минут во дворе хлопает.

Его не убивали за то, что он сказал. Его убивали за то, что он теперь связан со мной. Он был не целью, он был отметкой на карте, маячком: если старик заговорил, значит, мальчик начал искать, значит, пора. И старик это понимал. Он мне в лицо сказал про удачу, что ему

она ни к чему, что ему немного осталось, и я ведь даже кивнул тогда, как кивают старикам, которые жалуются на спину.

Я стоял у холодильника с бутылкой сока в руке и думал про того, кто такие решения принимает. Не про тех, кто в пальто с зелёным лацканом стоял у подъезда, эти как раз никто, у них работа. Я думал про человека, который сидит где-то в кабинете с белыми стенами, смотрит на список и ставит галочку напротив фамилии человека, с которым он, может быть, даже был знаком тридцать лет назад, и после этого спокойно идёт обедать. Без совести, без ночного потолка, без ничего. Таких я не знал в лицо. Но он где-то был, и сегодня он впервые заметил меня.

Я отпил сок прямо из горла, апельсиновый, слишком сладкий, как всё дешёвое, и этот вкус как-то совсем не подходил к тому, о чём я думал. Потом убрал бутылку в холодильник, выложил туда же готовые наборы, лапшу оставил на столе, круассаны задвинул подальше от края. Холодильник у меня старый, с модульной дверцей от другой модели, и он после каждого закрытия с полминуты ворчит, подбирает температуру, тянет одну низкую ноту, а потом щёлкает и замолкает. Я эту ноту слышу каждую ночь. Джина про такое даже не знает, у неё всё новое, у неё тишина.

Умылся я быстро, холодной, рубашку бросил на спинку, брюки повесил, носки отправил в угол и подумал, что надо бы завтра затеять стирку, и тут же понял, что завтра у меня переход у станции В-3 и девушка, которая просила прийти без хвоста, и что слово «стирка» в этом дне не помещается.

Лёг. Потолок у меня в комнате ровный, выкрашенный давно, с одной трещиной от угла к люстре, и по нему идёт полоса фиолетового от вывески «Баркли» напротив, через два дома. Она чуть пульсирует, не мигает, а именно дышит, раз в три секунды светлее, раз в три темнее, и я к этому так привык, что без неё, наверное, не засну. Когда-то давно, в первый год после приюта, я собирался повесить плотные шторы. Не повесил. Теперь уже и смысла нет.

И вот лёжа я прокрутил всё заново, но уже не по порядку, а как оно само шло.

Франт на кухне, его хриплый голос, его «не перебивай». Митинг в две тысячи девятьсот девяносто первом, с которого всё началось, мои родители, которые тогда были просто двумя людьми в толпе. Бойкот, отставка премьера, мать на трибуне. Отец, который разворачивает армию от Варма к Генту. Патовый фронт и два года голода. Совет, который проголосовал за наступление, и кто-то, один человек, вынесший это решение за стены. Город, сожжённый дотла. Я, родившийся неизвестно где и привезённый в Сент-Гент свёртком.

Потом министерство, этажи, камеры, пропуск, форма, которую мне уже раздобыли, и это «тебе надо подстричься», сказанное таким тоном, будто речь о свидании. Гиз с его носителем. Хелен с её щекой у моей щеки и с её «жаль его» про Франта, сказанным раньше, чем я вообще узнал, что Франта жаль.

И посреди всего этого, в самом низу, Джина.

Джина, которая сегодня спрашивала меня, можно ли построить общество без насилия и без классового неравенства, и действительно ждала ответа, представляете. Джина, которая обрадовалась ДМГ так, будто меня взяли в университет. Джина, которая ни разу за все годы

не спросила, откуда у меня фамилия Вайт, и, я почти уверен, вообще не думала, что фамилия может откуда-то браться. Для неё я сосед напротив, который курит у магазина и ругается вслух, когда думает, что его никто не слышит.

Она единственная, кто ничего не знает. И, значит, единственная, кому от меня ничего не нужно.

Я лежал и понимал, что рассуждаю как человек, который выбирает, куда положить деньги, и мне было от этого неприятно, но неприятно слабо, вполсилы, потому что сил на нормальный стыд уже не осталось. Довериться Генри нельзя. Гизу смешно. Хелен рано. Остаётся девушка, которую я знаю с детства, у которой круглые очки и проблемы со зрением, которые она почему-то не лечит, и которая сегодня на лестнице начала фразу и не закончила.

Надо найти рычаг и остановить этот ком, пока он катится медленно. Вот рычаг и нашёлся, подумал я, и сам же усмехнулся в темноту, потому что рычагом у меня выходил живой человек, который вообще ни при чём.

Фиолетовая полоса стала светлее, потом темнее. Холодильник на кухне взял свою ноту, подержал и щёлкнул.

Завтра переход у станции В-3. В субботу министерство. А в пятницу в семь утра смена, и опаздывать нельзя, просят с уважением.

Я закрыл глаза и начал ровно дышать, как учат в дешёвых роликах про сон, и думал только о том, что надо не забыть написать ей утром. Что-нибудь короткое. Обычное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.